

НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ



НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ



№ 2.5 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
2018 АЛЬМАНАХ
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ

Литературно-художественный
альманах

КЛЮЛЛ

Главный редактор

Андрей Гущин

Зав. отделом поэзии

Дмитрий Артис

Редакционная коллегия:

Борис Марковский,

Алексей Никитин,

Татьяна Ретивова,

Елена Малишевская,

Николай Сологубов

Художник

Николай Сологубов

Корректор

Наталия Нагорная

Верстка

Андрей Сташевский

Год издания второй

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Новый Гильгамеш»

обязательна

В исключительных случаях сохранены

авторские орфография и пунктуация

УДК 821(100)(059)

А/з Н73

ISBN 978-617-7390-95-3

© Новый Гильгамеш, 2018 г.

© Издательство «Каяла» (Киев), 2018 г.



Поэзия



Уильям Батлер Йейтс /Дублин – Ментон, 1865-1939/

ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА¹

ПЕСНЯ СКИТАЛЬЦА ЭНГУСА

Перевод с английского Григория Кружкова

Я вышел в темный лес ночной,
Чтоб лоб горящий остудить,
Орешниковый срезал прут,
Содрал кору, приладил нить.
И в час, когда светлела мгла
И гасли звезды-мотыльки,
Я серебристую форель
Поймал на быстрине реки.

Я положил ее на пол
И отошел раздуть очаг,
Но шорох вдруг прошелестел,
Негромкий оклик, легкий шаг.
Предстала дева предо мной,
Светясь, как яблоневый цвет,
Окликнула – и скрылась прочь,
В прозрачный канула рассвет.

¹Новые переводы и новые варианты.

Пускай я стар, пускай устал
От косогоров и холмов,
Но чтоб ее поцеловать,
Я снова мир пройти готов,
И травы мять, и с неба рвать,
Плоды земные разлюбив,
Серебряный налив луны
И солнца золотой налив.

ШУТОВСКОЙ КОЛПАК

Бедный шут влюбился в королеву,
И когда в саду умолкли птицы,
Он велел душе своей подняться,
К ней на подоконник опуститься.

И душа послушная взлетела
В голубой трепещущей одежде,
И у окон королевы пела,
Обмирая в сладостной надежде.

Но она не захотела слушать,
И когда в лесу кричали совы,
Наглухо окошко затворила,
Накрепко задвинула засовы.

Он послал к ней сердце на рассвете,
В тишину ее и нежность веря,
В одеянье трепетном и алом
Сердце к ней взывало из-за двери.

Но она не захотела слышать,
Лишь нахмурилась, поправив прядку,
И прогнала веером от двери
Сердце, размечтавшееся сладко.

— У меня есть шапка с бубенцами,
Я пошлю ей шапку шутовскую —
То последнее, что я имею, —
И умру, страдая и тоскуя.

Королева шапку шутовскую
На руки взяла, к груди прижалась,
Волосами, как шатром, укрыла,
Ласковые речи нашептала.

Дверь и окна настежь растворила,
И впустила душу с сердцем страстным,
Слева голубая к ней прильнула,
Справа — вся трепещущая, в красном.

И она их нежно обнимала,
Что-то напевая им обоим,
И сиренью волосы дышали,
И от платья веяло покоем.

БЕЗ УТЕШЕНИЯ

Та, что всегда добра, сказала мне:
«Твоей любимой пряди в седине,
И все видней морщинки возле глаз.
Пора уже остыть; приходит час,
Когда тебе пристало быть мудрей.
Смирись!»

Но сердце отвечало ей:

«Смириться? Нет! Бессильны времена –
С годами лишь прекраснее она;
Та страсть и благородство, что сквозят
В любом движенье, поражают взгляд,
Как молнии внезапный блеск в ночи;
Такой в ней силы не было, когда
Она цвела, свежа и молода...»

О сердце! ты безумно, замолчи!
Она лишь бросит взор – и ты поймешь
Любых надежд и утешений ложь.

НА СКАЧКАХ В ГОЛУЭ

Пыль, топот, пот, жокеи, кони,
Одно из сотен глоток – Ax! –
Азарт борьбы, азарт погони
Во всех сердцах, во всех глазах.
Когда-то и за нас болели
Когда, наездникам под стать,
Балладники, мы мчались к цели,
Рискуя голову сломать,

И слушатели обмирали...
Но новая взойдет луна,
Настанут дни, каких не ждали,
И обновятся времена.
И прежней славой не померкнув,
Читателей мы обретем
Не между торгашей и клерков,
А среди скачущих верхом.

СОЛОМОН И КОЛДУНЬЯ

Слова прекрасной Аравийки:
«Вчера, под яркою луной,
В саду, где Соломон великий
На ложе трав возлет со мной,
Какой-то крик, чужой и дикий,
Сорвался с губ моих...»

И тот,
Кто всяких тварей знал языки —
Кто воет, лает, блеет, ржет,
Ответил так:

«Прокукарекал
Петух, что пел всего лишь раз
От сотворенья человека;
Он промолчал бы и сейчас,
Когда б ему не показалось,
Что вдруг совпали Бред и Быль:
То, что свершилось и мечталось,
И гнусный мир исчез, как пыль.
Призвавший вечность хриплым ором,
Он ей решил пропеть отбой;
Хотя любовь паучьим взором
Всегда найдет предлог любой

Для мук – но, как себя ни мучай,
Бесцельна эта канитель,
Не совпадут мечта и случай,
Хоть режь; и брачная постель
Родит лишь новые страданья.
Но коль сойдутся Бред и Быль,
Два существа в одном сиянье
Смешав, как масло и фитиль,
Тогда сгорят земля и небо
И завершится круг времен, –
Когда к своей прекрасной Шебе
Прильнет влюбленный Соломон».

«Но мир стоит».

«Возможно, что-то
Ввело в сомненье петушка;
Пропеть была ему охота,
Но не созрел еще пока
Момент – иль промелькнул он скоро».

«Вновь ночь ложится; тишина
В священной роще; сикомора
Не шелохнется; и луна
Сияет, как огонь раздутый,
Так, что из звезд не разобрать, –
Безумней с каждою минутой.
О царь! Попробуем опять».

НОВЫЕ ЛИЦА

Коль первой смерть вам суждена судьбою,
Мой старый друг, я не ступлю опять
В тот сад, где мы придумали такое,

Что Время может зубы обломать.
Пусть в прежних залах — новые затеи
И толпы незнакомых лиц чужих;
Но наши тени бродят по аллее,
Как встарь; живые призрачнее их.

СВЕРСТНИКИ

Я не от старости охрип
И голос надсадил,
Нет, это я смеялся так,
Что выбился из сил.
Когда луна, как в кружке эль,
Мерцает в небесах,
Идет-бредет старуха Мэдж
С репьями в волосах.
Она несет в руках чурбак,
Закутанный в тряпье,
И стонет: «Баюшки-баю,
Сокровище мое!»

Когда безмозглый старый Джек,
Что был делягой встарь,
На пень залазит и орет,
Мол, я — Павлинний Царь, —
Смеясь до колотья в боку,
Ухохотавшись весь,
Я знаю, в ней поет любовь,
А в нем кричит лишь спесь.

ПАМЯТИ ЕВЫ ГОР-БУТ И ГРАФИНИ МАРКЕВИЧ

I

Июльский вечер, Лиссадель,
Распахнутое в сад окно,
Две девы в пестрых кимоно,
Одна похожа на газель.
Но ветры осени сорвут
Листья багрово-рыжий цвет,
Одну из них приговорят
К расстрелу, но отменят смерть,
Помилуют, и много лет
Ей суждено прожить одной,
Химерой теша темный люд.
Другая — как она тогда
Была, задумавшись, мила!
О чем она мечтать могла —
О царстве, где владыкой труд?
Под старость высохла она,
Как этот светлый идеал...
Не раз я с той поры мечтал
Увидеться, поговорить,
Воспоминаньем оживить
Тот дом, то утро, то окно,
Невинный щебет, юный хмель,
Двух дев в широких кимоно,
Одна из них — точь-в-точь газель.

II

Теперь вы там, где знают всё —
О тщетности земной мечты,
Земной борьбы добра со злом.

Для юности и красоты
Лишь время — настоящий враг.
Пусть чиркну спичкой я — вот так,
Чтоб время вспыхнуло, как стог,
Спалив наш золотой чертог
Высоких дум... В какой вине
Себя должны мы упрекнуть?
О призраки! Велите мне
Вновь чиркнуть спичкой — и задуть.

ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕКА

Сперва боролся с телом дух —
С карачек встав, пошел на дух.

Потом он с сердцем воевал —
Невинность сердца потерял.

Потом он с мыслью в спор вступил —
Про сердце страстное забыл.

Решил он Бога побороть —
Всё погубил: и дух, и плоть.

ПАЛОМНИК НА СВЯТОМ ОЗЕРЕ

Я на воде и на бобах пятнадцать дней постился
За то, я любил девах и с ними веселился —
Девах в лохмотьях и шелках; но, черт возьми, что толку
От их тирьям и тра-ляля, лохмотьев или шелку?
— *Тирьям-па-пам и тра-ля-ля!*

Отправился я на Лох-Дерг, и стоя на коленях,
Предался покаянию там в неистовых моленьях;
Со мною рядом старичок поклоны клал до ночи,
Прислушался я невзначай, а он одно бормочет:
— Тирьям-па-пам и тра-ля-ля!

Для человеков этот грех — как для огня солома,
И матерям не устеречь своих сыночков дома;
Они в Чистилище горят в стенаньях и в печали,
Я спрашивал их, как дела, и так мне отвечали:
— Тирьям-па-пам и тра-ля-ля!

Когда я в лодке плыл назад, устав весь день молиться,
Вдруг появилась над кормой чудовищная птица,
Крылами хлопала она и яростно глядела;
И что мог лодочник сказать, узрев такое дело?
— Тирьям-па-пам и тра-ля-ля!

Я снова в кабаке сижу, хмелён и грешен плотью,
Идите, дурочки, сюда — в шелках или в лохмотьях;
Я сто очков даю вперед любому обалдую,
Любую девку отобью, как только им спою я:
— Тирьям-па-пам и тра-ля-ля!

Артём Серебренников /Москва/

JUVENILIA

НИМРОД

Скрылась дичь. Убежала в лог.
Но отыщется, верь не верь.
Ведь на самом-то деле Бог
Лишь огромный небесный Зверь.

Я ловец, имя мне Нимрод,
Как ливанский кедр, я силен,
Я веду человечий род
К славе новых, лучших времен.

Только тот, кто травит дичь,
У кого есть к охоте страсть,
Только тот неба сможет достичь,
Лишь тому — спастись, не пропасть.

Мы, охотники, столп творим,
Чтоб забраться в небесный лес.
Мы к свободе путь проторим,
Чтобы каждый на небо влез.

В облака ты стрелу пусти —
И оттуда польется кровь.
Чтобы волю свою обрести,
Прыскай стрелами вновь и вновь.

Видишь, Бог, как и мы, раним.
Так трави же Его, трави!
Ты тогда верх одержишь над Ним,
Если небо все будет в крови.

.....

Для охоты раздолье – Эдем,
Для ловитвы там – благодать,
Если Бог, словно скот, нем,
Значит, будет и дальше молчать.

Назначайте любой срок –
Распахнется на небо дверь!
Ведь на самом-то деле Бог
Лишь огромный небесный Зверь.

БУСИРИД

Вечный Нил превратился в ручей,
Сгинул в жадных утробах мышей

Весь добытый трудами хлеб;
Я подумал, что Ра ослеп.

Возроптали затем рабы,
Осквернили царей гробы –

Думал я: нет моей страны,
Дни Египта уже сочтены.

Но явился тогда пророк
Родом с Кипра, и так изрёк:

«Бусирид, многомудрый царь,
Прикажи сотворить алтарь.

Пусть на нем умирает пришлец,
Как назначенный в жертву телец».

.....

И находит сердца нож.
Прорицатель, ты мне не лжёшь!

Подтвердилось, что ты говорил,
Когда кровь ты свою пролил.

Финикиец, гиксос, еврей!
Приезжайте в мой край скорей,

Чтоб вы кровью своей смогли
Возродить плодородье земли.

Льётся жидкость из ваших жил,
Чтобы снова разлился Нил,

Чтобы гнев свой умерил Ра,
Чтобы счастья пришла пора.

Из цикла «Гиперборейские сонеты»

ПИФЕЙ, 320 ДО Р.Х.

Я плыл в пределах льда и янтаря,
Мне ведомы и Танаис, и Тулэ,
Не раз передо мною промелькнули
Громады снега, холдом горя.

У Фебова служил я алтаря,
Гиперборейский храм гудел, как улей,
Я славлен был в неистовом разгуле,
Как переплыvший льдистые моря...

Эллада всё печальнее и хуже.
Мы будем вспоминать в Летейской стуже,
О крае, где не угасает свет...

Когда же мореход родится новый,
За Дальней Тулэ край найти готовый,
Которому еще названья нет?

МИТРИДАТ ЕВПАТОР, 63 ДО Р.Х.

На двадцати наречьях я кляну
Свое же порождение – Фарнака.
Не римских орд жестокая атака –
Боспор измена привела ко дну.

Пантиканей! Пребудешь ты в плену,
Покуда боги не дадут нам знака,
И киммерийцы из пределов мрака
Не возродят понтийскую страну.

Мой верный галл, отважный Битоит,
Тебе последний подвиг предстоит —
Направить в Митридата римский гладий.

Мне не опасны яды трав и змей,
Но от измены войск и сыновей
Не смог я отыскать противоядий.

БРЕНДАН, 512

Плыви в волнах, монашеский каррак,
Плыви подобъем Ноева ковчега,
Плыви же вдаль от Эринского брега
В Страну Святых сквозь бурю, через мрак!

С небесным Агнцем подняли мы стяг,
Святое знамя нашего побега
Из мира тленного. К чему нам нега
И множество мирских обманных благ?

Чудес немало Божьих в дивном понте:
Там птичий рай, там остров-зверь Ясконтий,
Пылают горы средь ревущих выюг...

Но высшее я в море видел чудо —
На ветреной скале стенал Иуда,
В воскресный день спасен от адских мук.

ВЛАХ В ВЕНЕЦИИ, 1571

Далмат зовусь я, морлак или влах,
Славон, кроат, а может, как иначе,
Читаю об Исходе я в стенах,
Где написал Георгия Карпаччо.

Молю: «Османов Ты повергни в прах,
Пусть видят их паденье и незрячий,
Как войско Фараоново, в волнах
Да скроются они, ропща и плача,

И не терзают край, где мирт и лавр,
И где изографы в молчанье лавр
Фаворский пишут свет, что солнца ярче».

И тут затрепетали крылья льва,
И в тишине послышались слова
Его звериных уст: «*Pax tibi, Marce*».

ЧАРОДЕЙ, 1787

— На Юге возрастают все сильней
Желанья северной Семирамиды.
В своих потемках, милый чародей,
Изобрази перед гостями виды.

— Царица! Там, где властвовал Гирей,
Да расцветут теперь сады Армиды.
В степном аду, как древле зрел Эней,
Увидите вы призраки Тавриды.

И, не щадя испуганных очес,
Встает из запустенья Херсонес,
Встают сарматов, скифов, римлян лица...

И всякий к волшебству прикован взгляда,
И смотрят на правдивый машкера
Граф Фалькенштейн с державною Фелицей.

ХАДЖИБЕЙ, 1794

— Я подданный страны Партенопейской,
Я кельт, но балеарцем наречен.
Призвал меня предел Гиперборейский,
Где золото охраняет страж-грифон.

Законы мудрости пифагорейской
Гласят нам: будет всяк перерожден.
Не здесь ли волею адмиралтейской
Вновь утвердится эллинский закон?

Да, бесится зима над Петербургом,
Что возведен был северным Аикургом,
Но есть и юг. Мы, может, в первый раз

От самого падения Эллады
Средь варварских степей вскопали клады.
Разграбят их?

— Вы правы, де Рибас.

Вадим Месяц /Томск – Москва/

ПРЯТКИ

Снежные бабы с похмелья накрасили губы,
но женихи опоздали прийти на смотрины.
Нет ничего благородней соломенной шубы,
лучший платок это – драный кусок мешковины.

Лучший подарок для друга – хорошая книга,
если найдешь ее лично на мусорной свалке.
Друг начитался – и вот удавился ханыга
из-за несчастной любви к белокурой хабалке.

Лютой зимы в подворотню въезжают колеса,
кровью сверкают зубцы пролетевших снежинок.
Сяду в прихожей, чтоб самые горькие слезы
падали с длинных ресниц в вислоухий ботинок.

Чтобы уродливый мир пропитался тоскою,
и до подметок покрылся кристаллами соли,
чтобы забыло навеки отродье людское
номер кредитки и кода, ключи и пароли.

В Замоскворечье дворняги совсем оборзели:
рвут на клочки молодого красавца-терьера.
Счастье дождалось, чтоб вы наконец постарели.
И виновато выходит из-за шифоньера.

ХОЛОД

Есть холод неживой, а есть мертворожденный.
Один стоит в домах и у истоков рек.
Другой пронзает дух у форточки вагонной.
И он твой лучший друг, и он не человек.

Он трогает стекло руками меховыми —
и на большой земле становится светло.
И на губах твоих написанное имя
слетает в пустоту как легкое крыло.

Заборы до небес прозрачные как полдень
в балтийских деревнях, увиденных во сне,
куда ушел и я отчаянно свободен.
И каждый человек соскучился по мне.

Приветствуя тебя отзывчивый учитель.
Ты научил молчать и думать про огонь.
Я с твоего плеча примерил черный китель,
и приложил к груди неверную ладонь.

ГЛУХОНЕМЫЕ ЯРМАРКИ

1.

Помнишь, как китайцы пересыпали лед
ранним утром? Он стучал по днищу
их короба и отзывался эхом в горах Катскилла.
Мы рвали вишни в ничейных садах,
слушали соловья.
Его песни были похожи на брагу.
В индейском дыму я поднимаюсь над бездной.
Любая моя дорога как водопад.
Бегут по краям шоссе
бесшумные ярмарки глухонемые.

2.

Старый бендеровец плачет, упав головой
на скатерть.
И проклинает отчизну.
Яблоки окаменели.
На дощатой стене сарая пляшут лохматые тени.
Карлос Сантьяго играет на школьном балу.
У нас по-прежнему нет детей,
и мы нянчимся друг с другом.
Прежний ужас нельзя включить, как настольную лампу.
И все же он повторяется через каждые семь лет.

3.

Медвежонок бежит наутек, испугавшись коровы.
Воротами крепостными закрывается лес.
Скрип петельозвучен скрипу уключин
лодки, идущей в холодный туман

вслед колесному пароходу.
Кукушка в Америке – не моя кукушка.
Дышать становится тяжелее. И потом
в душе что-то лопается, словно бычий пузырь...
Я могу попросить прошенья даже у школьных подруг.
Даже у мертвых.

ТРАУРНЫЙ МАРШ

(из «Имперского романсера»)

Мы так любили похоронный марш:
в густой метели глохнущие скрипки,
бой барабана, плач большой трубы.
И на проспектах многолюдный гул.
Кареты едут. В них сидят цари.
Они свежи на нынешнем морозе.
Не дышат, молодея на глазах,
в гробах хрустальных мертвые царевны.
И так красиво музыка играет...
Мне хочется, чтоб это длилась вечно.
Когда-нибудь и ты меня попросишь,
мой маленький, мой преданный сынок,
взять в руки бестолковую волынку
и наиграть трагический мотив.
Мы ждем его как дерево весны,
как девушка, что ждет солдата с фронта,
как ждет солома жаркого огня.
Скажи, дружок, когда придет мой поезд.
Когда народы выбегут из дома
и побредут за пышным катафалком
и глотку улиц розами забьют?

ПЕТЕРБУРГ

(из «Имперского романсера»)

В литых сосульках спит больная ртуть,
за сутки, не поднявшись ни на градус,
ты покидаешь безутешный город,
который был не в силах обмануть.

Горят на солнце крупы лошадей
сырым огнем соснового распила.
Возница неуместен как могила,
разрытая на глади площадей.

Я водку пил, сойдя в полуподвал.
Я прижимался к бедрам потаскухи.
Я убеждал себя не верить в слухи,
что адъютант тебя поцеловал.

И сколько можно вывески читать,
и замирать под взглядом манекена.
Во всем есть правда, и во всем — подмена,
что жалкой правде сделалась подстать.

Меня пугали люди на мосту.
Я чувствовал, у каждого есть сердце.
Под шубой — окровавленная дверца.
И синий пар, клубящийся во рту.

АРБУЗЫ

Каждый художник — с отрезанным ухом.
Ухо отрезано. Сам небрит.
Если на миг ослабеешь духом,
то сразу станешь совсем забыт.

Бросит жена — заведи собаку.
Пару собак. Чтобы прозапас.
Если случайно полезешь в драку,
попробуй профиль сложить в анфас.

С грузовика — продают арбузы.
Грузчики пляшут. Звучит гобой.
Если уловишь дыханье музы
больше не будешь самим собой.

Мы не послушались астронома,
кричавшего, — к нам прилетит болид.
Где наш Содом? Больше нет Содома.
Руки дрожат. Голова болит.

Город сгорел тополиным пухом.
Курит чинарики архимандрит.
Каждый певец обладает слухом.
У каждого в землю талант зарыт.

ГАЛИЦИЯ

Нету выбора в хлипком таборе,
с горя скрипка стремится за море.
Мы с тобой становились старыми,
до рассвета стояли в тамбуре.

Отражались друг в друге лицами
как зияния над божницами,
под русинской звездой в Галиции
свои судьбы вязали спицами.

Говорить мне покуда нечего,
кроме глупого человечьего,
коли сдуру услышал речь Его
и возвысился опрометчиво.

Мы кормились зелено́й ягодой,
вспоминая прожилки яблока.
Ты была мне любимой ябедой,
сиротой на груди у бабника.

Нас сырьи стога с оглоблями
звали в гости немыми воплями,
чтоб сложить в эту землю голыми
и укрыть ледяными волнами.

ВОЙНА

Рубахи сотканы и сшиты
за день один и ночь одну
в них наряжаются бандиты
и молча скачут на войну

вдогонку свадебным кортежам
в галоп летит лесной пожар
пока мы будущее нежим
прижав к груди свинцовый шар

и белых бабочек движенье
слепит глаза как первый снег
и это головокруженье
сквозит нашатырем аптек

и стук телеги слышен в полночь
громя из каждого угла
еще немного — и на помощь
нас позовут колокола

ты прислоняешь ухо к стенке
вникая в шорох тихих пуль
и Карлик Нос снимают пенки
у огнедышащих кастриоль

и оживает волк из глины
и злобным тенором поёт
мнет в огородах георгины
и воду из могилы пьёт.

НОЧЬ

Я сосчитал отравленных лисиц
бродя всю ночь
босиком по застывшему саду,
бережно вынимая из пасти у каждой
синие кубики льда.

Корабли увядали как цветы.
Поскрипывали перила.
Весь во тьме приходящая
манила меня
как оставленная родина.

Каким бы ни был твой путь
однажды запнешься
о сгусток тьмы,
окаменевшей к рассвету.

Вячеслав Куприянов /Москва/

ГЁЛЬДЕРЛИНУ

...Поэтически живет на земле человек...

Фридрих Гёльдерлин

Чтобы сердцу и уму
Проявится наяву,
По завету твоему
Поэтически живу,
Словом подавляя страх
В новых скучных временах,
Веруя, что в беге дней
Вечер утра мудреней.

Где же боги, Гёльдерлин?
Львиный рык и взор орлин?
Я иду, тяжел от дум,
Не рассчитанных на шум,
А скорей на шелест рощи,
Но от этого не проще
Смыслом озадачить звук,
Еле слышимый вокруг.

Да и круг все уже, уже,
Закружившимся вчуже
На какой-то русский дух
Напрягать свой ум и слух,
И тебе внимает глухо
Неба срезанное ухо,
И на всю земную ось
Солнце кровью пролилось...

Приятно жить в родной стране
Среди забытого народа
И боли чувствовать в спине,
Когда меняется погода

От зноя летнего к дождю,
От потепления к морозу,
От императора к вождю,
И от пророчества к прогнозу.

И жить еще в чужом краю
Среди уверенного люда,
Где думу думают свою,
Когда исчезнешь ты оттуда.

И жить потом на небесах,
Которым я и ныне внемлю,
Где ангел, стоя на часах,
Следит: не смотришь ли на Землю...

Приходит учить Иуда,
Что нет ни добра, ни зла,
Что движет миры не чудо,
А тучная власть числа.

Явление Бога-Слова
Вовсе не благодать,
Для жадного и скупого –
Лишь повод – его продать,

И каждый раз подороже,
Так частный ваш интерес,
Число всесильное множа,
Работает на прогресс.

Вечно идет на смену
Тому, чему нет цены,
То, что имеет цену.
Все мелочи учтены.

Все прочее будет риском!
Что проку судить о том,
Что есть что-то мерзкое в низком.
И что-то дрянное в пустом.

ПЕСНЬ ОДИССЕЯ

Моей жене Наталье Румарчук

Когда мой корабль причалит к берегу,
Вместе со мной сойдет на берег песня,
Её прежде слушало только море,
Где она соперничала с зовом сирен.
В ней будут только влажные гласные звуки,
Которые так звучат в бледном переводе
С языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,
Клекотом орлов, летящих на запах печени Прометея,
Тысячеликим молчанием морской черепахи,
Писком кашалота, который хочет быть ревом,
Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,
От которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом вышедшим из моря,
Всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи,
Всеми пустынями, возомнившими себя морями,
Ты слышишь, как их песок пересыпается в моем пересохшем горле.

Я люблю тебя всем сердцем, легкими и зеницей ока,
Я люблю тебя земной корой и звездным небом,
Падением водопадов и спряжением глаголов,
Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу,
Столетней войной и татаро-монгольским игом,
Восстанием Spartaka и великим переселением народов,
Александрийским столпом и Пизанской башней,
Стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс.

Я люблю тебя буквой закона тяготения
И приговором к смертной казни,
К смертной казни через вечное падение
В твой бездонный Бермудский треугольник.

ПЕСНЯ ВОЛКА

Я волк волк
Я зимний ночной волк волк
Я своими следами служу духу снега
Я хозяин хруста чужих костей
Это я надышал вам морозные звезды
На ваши оконные стекла
Пока вы спали во сне
Я навыл вам в небе полную луну
Когда вы еще не умели смотреть на небо
Это я научил вас бояться ночных деревьев
Это я заклинаю вас от опасных игр с собственной тенью
Это я подсказал вам что надо сбиваться в стаи
Я волк волк
Я зимний ночной волк
Я ухожу от вас в вашу же зимнюю сказку

МОРЕ

Море дышит жабрами на закате
и уходит в море
море вздыхает легкими на рассвете
и уходит в небо
небо дышит морем ночью
и утром выдыхает огонь солнца
и вся земля

быть может
только камень
упавший
с сердца неба
и брошенный в море

ДЕТИ – 1

Для детских игр в продаже
Игрушечные ружья танки и пулеметы
Необходимы только
Надувные игрушечные враги
И их не вызывающие жалости
Плюшевые трупы

ДЕТИ – 2

Дети стали рождаться
С ружьями вместо рук
Детские коляски напоминают тачанки
Родители выкатывают детей на свежий воздух
Младенцы то и дело постреливают
В случайных прохожих

Средства массовой информации
Ведут бесконечные ток-шоу на тему
Что кончится раньше
Патроны у детишек
Или случайные прохожие

А дети растут
И случайностей все меньше

РОДИНА

У кого родина рядом —
тот не в тревоге, тот
не летит дорогой листа, который
несет на себе
свои корни.

Если родина далеко,
вспоминая,
рисуешь ее все загадочней:
если прежде
мечтал о заморских странах,
так нынче
представляешь себе свой край.

Через
десятки лет стоишь
на земле своих детских подошв
под листвой своих детских ладоней —
там твой дом.

Твой дом —
крепкий:
в нем жила твоя тишина,
и он выдержал
твое первое
слово.

Нет у ночи иных причин,
Кроме помысла темных сил
Понять значение величин
Не замечающих их светил.

Перекликается с тишию тиши,
Тень за тенью спешит во тьму,
Кто-то кличет — услыши, услыши! —
Слыши — эхо вторит ему.

Звездный дождь разверзает высь,
На спящие души струит бальзам.
На чей-то оклик — взглянись, взглянись! —
Вижу — в ответ, — но не верю глазам.

Елена Зейферт /Москва/

ТЮХЕ

Посвящаю Венделину Мангольду

у Тюхе рука Немезиды. у них одно колесо на двоих. Менандр приглашал меня в Мегары, там статуя Тихеи, сам Пракситель изваял её. мы, двое крепких мужчин, быстро спрятались за храм, когда к статуе подошли две женщины: плеть свисала с пояса одной, в руке её была яблоневая ветвь, серебро её короны играло в мышцах венчающих её голову оленей.

«Немезида!» – прошептал Менандр, он задыхался от восхищения. «мой друг Алексайос! как она прекрасна». эта женщина действительно была очень красива – розово-золотые кудри, изумительного рисунка тело в прозрачном красном шёлке. но я смотрел на Тюхе, она подбрасывала на ладони стеклянный шар, у ног её лежал юноша, он будто плыл, раскинув руки, я где-то его уже видел, по-моему, в Антиохии. неожиданно для себя я вышел из укрытия и громко окликнул его: «Оронт!» он опустил лицо, прижался телом к земле. но Тюхе посмотрела на меня. с пяти шагов я видел её выпуклые веки и чуть подрагивающие ноздри молодой самки, она была похожа на Артемиду, вернее на те представления об Артемиде, которые у меня были. Тюхе бросила на землю рог изобилия и колесо и пошла мне навстречу, подбрасывая на ладони свой прозрачный шар. я ощущал спиной, как дрожит Менандр, вжавшись в камень храма. Тихея встала бровень со мной, глаза в глаза, я стоял не шелохнувшись и молчал, да и говорить было бесполезно, ведь я не знаю языка бессмертных. она была моего роста, глаза водно-зелёные, карие у зрачков, мраморный лоб, увенчанный крепостными стенами города. я хотел поцеловать её, но вдруг все пятеро встали вокруг нас –

Тюхе, Тихея – богиня счастливого случая. Немезида – богиня возмездия. Менандр – автор комедии «Щит», действующим лицом которой является Тюхе.

Немезида, Менандр, Оронт, статуя Тихеи и Пракситель. «он-то откуда здесь взялся», — с досадой подумал я, но Тюхе была ещё рядом, между нами верх-вниз прыгал её шар. Немезида взяла её за руку, как девочку, Немезида била ритуальной плетью по земле, удары плети совпадали с прыжками шара. они медленно уходили, был день летнего солнцестояния, в такие дни боги пожирают царей и жрецов. я оглянулся кругом — ни Праксителя, ни Менандра, Оронт лежит на земле лицом вниз, и лишь статуя Тихеи смотрит мне в лицо глазами из-под выпуклых век.

я кусаю губы

верхняя — караганда

нижняя — москва

на нижней кровеносное деревце метро
на верхней кровные сёстры и братья

города соединяются на долю секунды
когда я произношу слово люблю

москва —

яйцо

внутри которого

сухая глина и капля воды

мои глиняные губы

не хотят пить

вместе с другими
я дую на воду
на берегу уставшей мутной слезы

знаю ли я боль

когда я вспоминаю тебя
тысячи балерин под моей кожей резко встают на пуанты
в былых точках прикосновений твоих пальцев

много раз
я видела
их гладкие причёски

Дантов город, что создан из моего ребра,
из моих молочных желёз, из моих кишок,
дашит прямо в лицо, он болен, он зол с утра,
у него закончился угольный порошок,
он готов забрать мои чувства, знамения, сны
и взамен ничего, ничегошеньки не отдать,
он кричит – тебе не дожить до весны, до луны,
он молчит, головою качает то «нет», то «да».

Я внимаю, я каждого слова слону ловлю,
тру пощёчины мартовским настом (весна пришла),
я люблю его очень, я очень его люблю,
мы любовники, если родственна пеплу зола,
мы родители, только дети покинули нас,
прижимаюсь губами к его ледяным губам,
как невкусен, как чёрен карагандинский наст,
как горька его корка, безрадостна и груба.

Мы с ним в чреве носили друг друга. Кто святей?
Он единственный знак, что мир бывает благой.
Уголино оправдан – не ел он своих детей,
своих внуков и даже своих и чужих врагов.

Жалкий торговец снежками, брошенными в меня,
мокрыми варежками, цыпками на руках,
носишь женское имя, да и его променял,
просишь оставить в покое, только не знаешь как,
бываешь под дых, упаду, и даже руки не подашь,
ранишь в живот, а потом заставляешь воды испить...
Я влюблена в тебя, бережный мальчик Караганда,
только поэтому я у тебя на цепи.

Смотришь, жива ли, гадаешь на языках костров,
выдержу или уеду, издохну или вспорхну,
ты, как любой возлюбленный, – милый сердцу острог,
крепость, в которой крысы, замок вечных минут,
что тебе скажут зёрна, травы, остатки льда –
снова ударить с размаху или бросить в степи...
Я влюблена в тебя, трепетный мальчик Караганда,
ты меня несколько лет ещё потерпи.

Веки закрою — видится белопенный лес,
тролли снуют по лагерю, вскинулись знамена...
Людям тепло и спокойно в карагандинской земле,
стоило здесь родиться, чтобы это узнать.

Я ли под брюхом овцы утекаю, город-слепец?
Маковки храмов твоих мне пятки жгут.
Спорим, во мне тебя больше, чем в шире твоих степей.
Ты никогда мне не лгал, а я тебе мшу и лгу.

С неба прольётся кислое молоко. А город лежит!
Утренний творог вынут из шахт. Он бел.
Варвары ташат вазы, монеты, копья, ножи.
Я захватила с собою свою колыбель.

Ангелы голы. Лица их, словно во мгле.
Но и таких мне в дорогу никто не даст.
Ты никого не жалей! Никогда не жалей!
Только арфу свою, захлебнувшись, Караганда.

Пусть верещит под руками живое овчье руно.
Город шарит по шерсти, он оголодал.
Я вдыхаю овечий дух, и мне всё равно —
Мои предки в теплушках когда-то попали сюда.

Содрогаясь от страха (надо мной великан),
Превращаюсь в зародыш, надеясь родиться не здесь,
А сама понимаю, что ушла с молотка
За хорошие деньги, но сохранила честь.

Время — потомственный плотник, мастер лодочных дел.
Рубит, снимает лишку... «Не плотников ли Он сын?»
Тешет из сердцевины, из самого сердца людей.
Шьёт осторожные лодки, суда нездешней красы.

Люди кричат и стонут, лодками быть не хотят.
Люди не понимают, о чём говорят топоры.
Им не к лицу деревянный и просмолёный наряд,
Но под килем снуют уже спины блестящих рыб.

Люди голову прячут — Господи, не меня!
«Больно!» кричат и плачут, но не уходят ко дну.
Время ведёт обтёску от вершины к корням —
Рыбыми тушками лодок легче в вечность нырнуть.

Лодочки — загляденье! Их принимает река.
Новых брёвен и досок времени хватит сполна.
...А мужская рука его, словно воздух, легка,
Если ему подвластны жаворонок и весна.

Вячеслав Шаповалов /Бишкек/

МОЛИТВА НА МОГИЛЕ БОГОМАТЕРИ

Все, Мария, я сделал, как научили:
свечку зажег и поставил — и попросил о прощенье,
встал на колени на коврик потертый. Глаза остыли.
слезы сглотнул — без них все равно плачевней.

Все, Пречистая, сделал я, как подсказали:
руки омыл и лицо из Твоего колодца.
Правда, вода была воплощена в металле:
нажмешь на кнопку — и благодать прольется.

Не было мне знамения, Богородица Пресвятая,
ничто не открылось душе, что было сокровенно.
Птаха в мандариновой роще что-то там просвистала
на влажных Твоих серпантинах под колесами ситроена.

Все, Богоматерь, я сделал — и крестик купил у турка,
правда, к нему прибавил ятаган двуострый —
эфес у него эфесский, на таможне придется тугу,
но таможня и горняя сфера — родные сестры.

Все я сделал, Марьям-Ана, в этот вечер,
хадж свой, убогий духом, у могилы Твоей завершая,
и если на зов ответить мне больше нечем,
то, значит, дошел и я до предела, до края.

Я всё это вижу, и спокоен при этом,
по фигу мне, что будет со мной и страною.
Что ж так больно мне, будто Тебя я предал?
Холодно, грустно, стыдно — но не пред Тобой одною.
Матерям, чьи могилы разбросаны по вселенной,
трудней, чем их детям, чьи могилы они потеряли.

Турецко-греческий ветер, непримиримо соленый,
воплощается молча в ветхом мемориале,
но сирота все ищет отца – и Отца обретает,
и ноша мира, взваленная на хрупкие плечи,
как эти масличные листья, не облетает,
вечно зеленая.
И матерям – не легче.

СОНЕТ

Салижану Джигитову

Чадящие лики шумера,
берцовые кости омара
хайама. Царица тамара
с котлом. Юрты горняя сфера.

Гомеровская химера –
осенним распадком отара,
окутана облаком пара,
грядет, словно высшая мера.

Все это – киргизская лира,
сплав бедного палеолита
с латиницею алфавита,

оплеванная пальмира,
где в зеркале видно полмира,
а прочее – смертно и скрыто.

НЕЧТО ЖИЗНЕОПИСАТЕЛЬНОЕ

Сакский крым. Домики немецкие.
Братья Гримм. Сёстры Каменецкие.
Белый бант. Школьницы советские.
Ницше. Кант. Сёстры Каменецкие.
Залпы — пли! — университетские:
Вы-рос-ли сёстры Каменецкие.
Юный строй, корпуса кадетские —
Век-герой, сёстры Каменецкие.
Гулко мчат вёрсты молодецкие —
Дым и чад, сёстры Каменецкие.
За окном — пляски половецкие.
Мир вверх дном, сёстры Каменецкие.
Пой, якут, эпосы ненецкие! —
Пишут труд сёстры Каменецкие.
Гибель! Бред! Головы стрелецкие,
Тихий бренду — сёстры Каменецкие.
Век — ушёл. Дни — орехи грецкие:
Щёлк да щёлк, сёстры Каменецкие.
Даль мертвa. Кодлы люберецкие.
Брат. Брат-2. Сёстры Каменецкие.
Лёг Бейрут в рельсы павелецкие:
Берег крут, сёстры Каменецкие.
Дух и плоть, дочки неотецкие —
Глянь, Господь: сёстры Каменецкие.
Лей-налей — льются слёзы детские:
Ве-се-лей, сёстры Каменецкие!..

ГОРАЦИЙ. EXEGI MONUMENTUM

Памяти переводчиков эпоса

Мы – памятник. Вокруг – эпох слепая плоть,
гранит чумной гордыни, гений грубой бронзы.
Сквозь камнепад времён – поэзии и прозы
мгновенный вечен вздох. И ведает Господь:

не ранее, чем голос книжного значка
всё скажет со странц про власть, и брань, и славу,
страстей неисчислимых огненную лаву,
не прежде мы умрём. И секретарь ЦК

с дельфийской службой обозначат гонорар
бездонным иммигрантам местного Востока.
Где прокатился вал взбешённого потока,
где кочевал Манас, растрачивая дар,

мы спели первыми силлабы дымных Трой –
но эолийским слогом русского домена.
Арчовой веточкой горящей, Мельпомена,
нас, вечных, помяни, беспамятством укрой...

ПОРТРЕТ БЕЗ ГЕРОЯ

Бывал он оболган, обруган, обрыган
и все же прекрасен, как лыжник Цурбригген,
когда он летит по слаломной стерне,
но все это позже, а раньше он все же
был всех синеглазей и многих моложе
и жил, все задачки решая вчерне.
Те самые шестидесятые годы –

при них пресловутая рифма «свободы» –
для нас были утром и горьким питьем,
однако же время вспомянет не каждого,
и если всплывает в нем мой однокашник,
то что-то сломалось в сознанье моем.

Эпоха застоя творилась, однако
мы прежде ее в коридорах филфака
прошли как науку: ладья + весло,
друг друга забыли легко и надежно,
как только друг друга забыть лишь возможно:
хоть в этом всем нам безупречно везло.

Он спился, но синие очи не меркли,
он жил в кабаке на Дзержинке – навек ли? –
и впрямь тот бардак в одночасье снесли.

Страна велика – наказанье иль праздник? –
и просто – уехать от мыслей напрасных,
и вот его след затерялся вдали.

И кровью он харкал в оленем загоне,
разбился и вновь возродился в законе,
шестерки клялись, что его уже нет –
пристрелен, задушен, в парламенте, в зоне.

А может, все дело в огне? – но огонь не
хотел разгораться в беспамятстве лет.

Одна только сильно о нем тосковала
и адрес – как только смогла? – раскопала,
а, впрочем, ее интерес объясним,
она, напоследок сошедшая с круга,
уехала в страны, где он лишь да выюга,
уехала молча – и сгинула с ним.

Немало друзей мы потом хоронили,
единой слезинки не уронили –
кто выдохся, кто задохнуться успел.

И в этом привычно вершащемся горе
все видится, вещее, в дантовском хоре

разъятие душ в средостениях тел.

...Однако на этом мы точки не ставим -
ожившего выжившим прочим представим,
прославив при этом курортный сезон:
он ожил - поблек и считать научился,
вернулся, прижился, зашился, женился.
Но лыжник погас, лишь на выдохе - склон...
...Вновь стинул! И лопнули жилы в госстрахе,
он глотку в ночи перегрыз росомахе,
он ханку возил в бензобаке ямахи,
его отловили, как лоха, монахи
и вновь подыхал он в деръме и во прахе
от мамы-тайги до британских морей,
и скрюченной шеей он дергал на плахе,
и кровью мочился, и мучился в страхе,
и снова бежал во вселенском размахе
вселенской страны, что не стала добрей.
...Куда же пропал ты под ветер-борей,
где кости твои в темноте декабрей?..

ИЛИАДА

Толпа с толпой на холмном пятаке
обиду делят. Тут как тут и боги.
Слепой старик трясется по дороге
на ослике. Суда стоят в реке.

Стоп-кадр истории - невдалеке
от наших гроз, прогрохотовавших в смоге:
с десяток странствий тягостных в итоге,
с десяток эдд на мертвом языке.

Ахилл, санташский кряж преодолев,
над телом Гектора стоит, как лев.
Скамандр к тяньшаньским елям угорело

струит волну. Осед, на склоне дня
везущий безымянного гомера, —
выносливей троянского коня.

ТРАМВАЙ

О, если бы и мне найти страну...
Н. Гумилев

то был безумный год и ночи заглянули
под тенишевский свод и в окна annenschule
то был голодный год и снова к изголовью
лёд вечных невских вод пришел окрашен кровью
таился петроград дрожали колоннады
под тягостный раскат кронштатской канонады
и в этой тишине и в этом адском громе
на рельсовой лыжне цвели тюльпаны крови
и некто добр и млад шептал чужое слово
проводя жизни сад в зрачках у гумилева
так больно, так темно куда же солнце делось
заклеено окно пространств оцепенелость
не вспомнит мир живых и юных дней остаток
осадок мутный их в годах восьмидесятых
тот свет, тот бред, тот страх — всему дано остаться
ожить и сжечь глаза безумца или старца
мятежный бастион юдоль пороховая
и одинокий звон заблудшего Трамвая
его бездумный бег в объятья пешехода
зане безлунный век короче дня и года

зане безумный знак разверзшегося неба
нам явлен – алый стяг как средоточье гнева
что вывело его на вымершие веси –
чумное торжество? воронье поднебесье?
куда его несло корабль без рулевого
в горящее жерло восстанья рокового?
истаявших времен черты бледны и кратки
Трамвая смертный звон мгновений отпечатки
так распахни же грудь – дарован мир оливам.
и рельсов крестный путь по ржавым перспективам
уже видна едва растоптанная сталью
бессмертная нева с ее бессмертной далью
и росчерк на стене руки судьбы не знавшей
о если бы и мне найти страну – писавшей
и сумерки теплы и старость одинока
но слышен глас из мглы назвавший имя Бога
мёд из горящих сот с десяток слов нетленных
молебен не сочтет безвинно убиенных
ушедшие под лед восшедшие в безлюдье
забыли этот год оплавлены орудья
прикрой глаза рукой просвещивает веко
путь тот же – да иной
длиной
в мгновенье века.

МЕРАНИ

«Друг мой, ровесник, в чёрную хмарь рвёшься, Мерани,
Ворон дорогу сглазит нам, тварь – сдаст нас охране.
Век не слыхать ихних сирен тяжкого воя,
Тонет наш плен у этих стен в храпе конвоя...»

«Сердце погладят жёсткие пальцы, ржавые рельсы сказку расскажут,
Думал, взлетишь – и жизнь распахнётся? Только зевни – о камни размажет.
Крылья раскинешь – пулю заманишь, нет в мире правды, нет и не надо,
Выдохся беглый – конный ли, пеший: тропа на волю – дорога ада...»

«Сколькоих здесь нас поцелуй промедола молча отправил в яму забвенья,
В сладкий побег, в сон без подъёма, без пробужденья, без сожаленья.
Мертвая пустошь – имя детдому, память точили – как нас учили,
В форточке звёзды, всё – по-другому, а уходили – не различили...»

«Длинный разбег волны морской... Ты видел море?
Там чаек крик, там Божий лик, там нету горя,
Там не слыхать здешних сирен тяжкого воя,
Тонет наш плен у этих стен в храпе конвоя...»

«Детство забылось, сердце забилось! – даже и в этом каждый обманут,
Если не выследили живого, то и в могиле шарить не станут,
Да и не выбьет скорбно железо свежей утраты имя на камне –
Только во сне родное подворье видеть придётся издалека мне...»

«Судьбе назло время пришло на всё решиться:
Что суждено – пусть всё равно сразу свершится.
Беги, пока нам не слыхать хриплой сирены,
Пока судьбу прячут в гробу старые стены!..»

«Там факелами чадит наша зона, ливень кислотный жизнь заливает,
Там паханы цацки смывают, там вертухай кружки сдвигают,
Птички поют вороньего цвета, вохра волны чистят заранее.
Если уходишь – забудь про это! Не останавливайся, Мерани!..»

«Да, мы на волю тропу торили – путь ненадёжный, трудный, кровавый! –
Тем же, кто вслед нам в камере плакал, но не прельстился пулей и славой,
Пусть повстречается добрая фея, из земляники варенья наварит,
Утром разбудит, хлебом накормит, кровь отстирает, паспорт подарит...»

«Друг мой, ровесник, в чёрную хмарь рвёшься, Мерани,
Ворон дорогу слазит нам, тварь — сдаст нас охране.
Век не слыхать ихних сирен тяжкого воя,
Тонет наш плен у этих стен в храпе конвоя...»

детство огромное одиночество в маленьком городке
лиц переклички и клички без отчества в памяти накоротке
песни казачьи язычество ёрничество девичий смех вдалеке
творчества золотое затворничество утро синица в руке
юное непобедимое зодчество будущим хищным обглодано дочиста
слово предлог и глагол и наречие ликованье воды в арыке
гор безначальное надчеловечие на неземном языке
отрочество то бишь первопроходчество
иго несбыточного пророчества
след на песке

Борис Кутенков /Москва/

Памяти И. М.

I.

Как ищущий света в горящем на воре,
как свет обошедший, что выжжен пожаром земным, —
стоит человек, и ему открывается горе,
и море непаханой боли встаёт перед ним.
Где взгляд, навсегда устремлённый в своё родовое, —
там путь пуповинный, там блудный вернётся иным, —
седым, повзрослевшим, — земля зарастает травою,
и дымом становится память, и памятью — дым.
На ощупь, слезящимся зренем, — сквозь купчи, сквозь чащи,
где было бы проще прервать беспокойную нить,
чем ткать переправу ночную для ждущих, молчащих,
смотрящих сквозь даль — без возможности повременить.
Уже отпуская, с иного взглянуть пьедестала, —
союз нерушимый в движенье сошедшихся плит,
и можно ладони разжать, чтобы ветер обнять небывалый,
и лёгкая ноша в неясное небо летит.

Илье

*Глаза шитъём за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.*

Борис Пастернак

За подарок речи без языка,
за отмену солнца — сама свети, —
надо выбрать тридцать из сорока,
надо выбрать двадцать из тридцати.
На развилке безрыбья — ясны пути:
за трудом, как за горем, глаза слезя,
можно выбрать восемь из девяти;
одного из пяти — нельзя.

Даже если поющему — всё равно,
в полынье позвавшему тишину,
человек выбирает из двух одно,
если даже идёт ко дну, —
погружаясь в архив — или зная, что смерти нет,
выключает — или включает свет;
где-то есть другой, непохожий свет —
там ещё мы увидим свет.

Через дождь — пунктирный и раздвижной,
чёtkих красок — белый и голубой, —
там услышишь голос: «побудь со мной», —
и одна из двух навсегда с тобой,
навсегда, навсегда с Тобой.

III.

последний грим прилёгший на лицо
припорощил траву
и я забыл садовое кольцо
и летнюю москву
теперь крутись забвение моё
в нецирковых руках
как радиус меж точками над «ё»
расставленных впотьмах
сперва недвижный после раздвижной
непоправимый свет
где живы все на полосе одной
на той где смерти нет
смолчавшие кто тайну не донёс
до слёз как до дверей
и у подножья маленьких берёз
цикорий и кипрей

Михаил Дынкин /Ashdog/

После Нового года у них продолжается старый.
Снега нет. Ветра нет. День похож на футляр от гитары;
он слегка залоснился и замер в медвежьем углу.
Персонажи скучают. А что им ещё остаётся?
Головами качают. Включают подсветку эмоций.
Диалог состоит из «ага», «огого» и «угу».

Огого — это «сильно». Ага и угу — «как обычно».
Чёрно-белая фильма: субтитры, цензура, кавычки.
Это Мёбиус с лентой зашёл погостить и отжёг.
Персонажи, вставая,роняют слова и запчасти.
И под треск киноплёнки дрожат на клеёнке две чашки.
И под каждой из них образуется липкий кружок.

Начинается снег. Дышит в спину разбуженный ветер.
По экрану ползёт что-то среднее между медведем
и бастардом гориллы... Дублёр, задушив двойника,
говорит в микрофон о превратностях киноискусства.
После Нового года у них обостряются чувства,
но дождавшись финала, мы видим одни облака.

ОТРАЖЕНИЯ

Вот зеркало кривое для героя,
в котором отражаются сараи,
фабричный корпус, голова коровы,
локомотив под винными парами;
девятка бубен, круглые печати,
портал, ведущий в лавку скобяную;
любовница с борцовскими плечами,
похожая на бабу надувную.

Она стоит на кухне, подбоченясь,
жену напоминая, между прочим.
Выпячивает разом грудь и челюсть,
заканчивает фразу чем-то очень
фольклорным — это эвфемизм, конечно.
Она сама, что зеркало кривое,
в котором отражается колечко
с фальшивым изумрудом, теневое
правительство из давешней брошюры,
крестовый туз, гусиная печёнка;
веснушчатые руки дяди Шуры —
она тогда совсем была девчонкой...

Имея дело с пресловутым дядей,
любителем нимфеток и покушать,
глаза отводит в сторону читатель
и затыкает вянувшие уши,
соскальзывая в зеркало кривое
(как выбраться из текста ни старался),
где тычется во что-то неживое,
заполнившее время и пространство.

Летиция маневренною птицею
летит во сне над городом фарфоровым.
И чудо-город машет ей, Летиции,
зелёными руками-светофорами.
Когда-то светофоры были красными,
но всё течёт и, стало быть, меняется.
Летиция над скоростными трассами,
над ледяной озёрной умывальницей;
над лесопарком всклоченным искрящимся,
над садом обезноженным заснеженным...
Летиция, похожая на ящера,
наполненного воздухом разреженным.
Она летит и в самую нелётную,
в густой пурге, над океаном Времени.
Вот только воздух обжигает лёгкие,
дырявит их невидимыми дрелями.
А где-то там, внизу, в больничном корпусе
выходит врач из кабинета-ящика
и видит, как сидит на стуле, сгорбившись,
мать пациентки, превращённой в ящера.
Врач говорит: «Надежд на излечение...»
Тушуется, бухсует в сослагательном.
И мать даёт добро на отключение
от аппарата, ставшего летательным.

Снег под руку с дождём идёт по голым паркам.
Качают тополя незримых грудничков.
Унылая пора, слепая санитарка:
ни пуха, ни пера за стёклами очков.
Ни пуха, ни пера, ни ясности, ни цели.
И это хорошо, что цели не ясны;
что вот она — зима, в чём ледяном лице я
читаю приговор, досматривая сны
чужие, ну и что, мне нравятся чужие —
в них неудобно жить, но умирать легко;
здесь тот же мокрый снег, глаза его большие,
текущие дождём сквозь пальцы двойников.
Я наугад войду в один из снов вакантных
и встречу двойника с дождём наперевес.
Он выдохнет, вдохнёт и скажет, вероятно,
что весь я не умру, но я хотел бы — весь.

Ирина Легонькова /Харьков/

Божественно отточен карандаш,
а здесь октябрь уже рисует белым.
И мы с тобою два мазка умелых,
в холодный крымский гаснущий пейзаж
добавленных небрежно между скал.
Но кто-то сверху нас увидел мельком —
таких счастливых, маленьких — и мелким
косым дождём пейзаж заштриховал...

Встань к морю лицом.
Дыши.
Дождись восхода луны,
холодные голыши
бросая в стекло волны.

В ладонях тоску согрей
остатком тепла в крови.
Чернейшему из морей
доверься
и поплыви.

И примет тебя вода,
и вылечит, и спасёт
как раныше, бог весть когда,
спасала Ли Бо,
Басё

и сонмы других —
иных
и схожих.
Вода несёт,
ласкает и бьёт под дых.
И шепчет:
«Ли-и Бо-о, Бас-с-сё...»

Геннадий Калашников /Москва/

Никогда не отыскивающееся, но вечно искомое,
чьи приметы не вспомнить и не описать внешний вид,
до крови близкое, как летнее насекомое,
чудно-знакомое, как греческий алфавит,
как вся Древняя Греция,
как у Гоголя плеоназм,
волшебное, как эрекция,
инопланетное, как оргазм,
уходящее круто кверху,
но неизменно приводящее вниз,
что же это такое: эхо,
а, возможно, и рифма
тихо подсказывают —
жизнь ...

Сплющенный меж мохнатой тьмой и колючим светом ты
всего лишь перепонка колеблемая мембрана и уж конечно не голос
ты искришь на ветру рябишь как поверхность воды меняешь свои черты
за каждой тьмою свет за светом тьма и за средостением еще одна полость
камень слепой тебе шепчет и ангелы многоочитые тебе поют
и ты уже пресуществлен да и так любой ерундою мечен
после таких перемен как еще близкие тебя узнают
ведь расстались утром а сейчас — смотри — почти уже вечер
пожива пастыря пьедестал праведника полигон психиатра персть и прах

сразу же от подошв ты начинаешь граничить с галактикой и вселенной
атмосферный столб циркачом плотно и стройно стоит на твоих плечах
как кренится и рушится он когда исполняется срок твоей оболочки тленной
не раз на дню — как размер стиха — прихотливо изменится твой почерк
совсем не так начнут выглядеть — например — равнина и над ней — например — луна
наверно оттого что пласти земли передвигаются с неиссякающей мощью
словно лопатки совершенно косматого мамонта или совершенно голого слона
ты дробишься, множишься и собираешься вновь один и тот же и каждый раз по-иному
и непонятно как надо (и надо ли) ибо миг и мир (как всегда) уже не таков
ведь первое — вот еще пример — чему поражаешься выходя из дому —
обилию обликов облаков.

ДРУЗЬЯМ

светает истончается и тает тьма
свет это единственное что не может свести с ума
что освещать ему все равно
он льется всегда
здесь бессмысленно слово давно
он льется всегда
здесь бессмысленно слово зря
не так как река состоящая из течения и пескаря
он не знает числа
ему непонятна дата
он отвергает правоту циферблата
все — в остатке — ничто
за вычетом света
надевая пальто мы утверждаем что кончилось лето
ему наплевать что лето переползает в осень
он сам по себе
и сам по себе он очень
мы тоже отдельно но мы
больше зависим от тьмы

а он вездесущ
он любую кость изгрызет изгложет
ося леня сережка
он нас перетрет как часов пружины и оси
леня сережка ося
въедливей лесопилок крепче камнедробилок горячее плавилен
вот он вползает в окна с виду совсем бессилен
что ему чушь григорианского календаря
сережка ося леня
и я

Сутулый поплавок в воде увяз по плечи,
намечен чуть пейзаж откосов и лугов.
Какой-то ночедень – не утро и не вечер,
запаяна вода по кромке берегов.
Откосов и лугов, узлов и тайных петель
не отразит вода недвижимой реки.
Все снасти, все крючки, все невода, все сети,
насторожившись, ждут – все снасти, все крючки.
Все сбудется, придет, все вновь на место встанет,
забудется, уйдет и унесет с собой,
останется, пройдет... О, это трепетанье,
удилище творца согнувшее дугой.

ЦВЕТОК

У кладбища, где смерть легка
и жизнь покажется несложной,
цветок искусственный с венка
блестит в канаве придорожной.

Там пчелы радостно гудят,
кипрая розовая пена.
О, как он раздражает взгляд
свою фальшью откровенной.

Моторов хрип да меди лязг
тревожат жаркий день тягучий.
Он, как заноза, впился в глаз
и бередит его, и мучит.

Цветок, шершавый как наждак,
багровый цвет его неистов.
Сама лишь смерть вот так чужда,
как анилиновые листья.

И он под солнечным лучом
в потоке времени влачится.
...Смят ветром, выбелен дождем,
почти живым уже глядится.

Отнюдь не подступающая нишета,
а то, что не получается ни черта;
что не входят слово и строчка в паз,
что Ничто вокруг разевает пасть,
что Нигде оказывается тут как тут,
Никогда своих не развязает пут, -
так мешают жить, как пальца порез:
ушибаешь всегда, куда б ни полез,
хоть в зазубрины времени, чей ход
стучит куда-то наоборот,
уволакивая тебя, как мышь в нору
кухонный трофеи: не вру, умру.
Живешь, как в курьезе одной строки,
для запятой не хватает длины руки:
Помиловать нельзя казнить,
вот и утеряна смысла нить,
что-то там про порез и паз
в бред ли, в сон завело рассказ,
только знаю, даже не открывая глаз:
свет стоит в окне, озирая нас.

Жил Пьеро на станции Перово,
что по меньшей мере нездоро.о.
Как в сердцах заметила Мальвина –
жизнь – не развеселая малина.

Оплыла Мальвина и поблекла,
стала не то брюква, не то свекла.
Он и сам утратил тонкость кости
сторожем в Кузьминках при погoste.

И давно к романтике не склонны,
свищут Буратины по притонам,
шушера, Шушара, мишура,
с Карабасом водку пьют с утра.

Песни здесь — на «ды», на «го», на «ду»,
про кирдык и Вологду-ду-ду,
Уч-Кудук, Надым, Караганду...
И Сидур, согнув гранит в дугу,
угадал про эту кергуду.

Я и сам порой здесь появляюсь,
как на фотоснимке проявляюсь,
сквозь метель, сквозь дымную пургу,
сам с собою сладить не могу.

Вечером бреду иль спозаранку,
жизнь свою читаю наизнанку
по своим же собственным следам...

Здесь, в чужих пределах и притинах,
всё ишу волшебную картину,
где очаг затянут паутиной,
где не все уж так непоправимо,
где сверчок в рубашке из сатина
азбуку читает по складам.

Тупить конкретно, реально глючить,
попасть на бабки – говно вопрос,
жизнь по-любому тебя ущучит –
в Бобруйск, под плинтус, в Лос-Анджелес.

Что гнуть понты, топырить пальцы,
когда по улицам пошли гулять
туркменский сом, юань китайский,
а с ними вместе япона мать.

Одовый чел, лох деревенский,
чего со временем тебе делить,
бычок в томате, стул гнутый венский,
моржовый хрен, нажми *delete*.

Лязг, дребезг времени железный.
Над кем смеяться, грустить о ком?
Есть упоение над бездной.
Край. Точка *ru* и точка *com*.

Дно колодца мерцает, дробится – то ли
зеркало, то ли глаз кита, на спине которого лежит Земля.
Дом стоит на пригорке, за перелеском пустое поле
да бурун облаков от проплывшего небесного корабля.

Спорят с ветром деревья, вскипают и даже,
выворачивая листву, переиначивают свое естество.
Весь набор: свет и тень, необходимые для пейзажа,
как и прочие – крупные и мелкие – части его.

Циферблат небосвода всегда педантично точен:
по-имперски безлик, облаков принимая парад.
Здесь подробностей нет, лишь сплошное зиянье и прочерк,
ибо точен и сух небосвода слепой циферблат.

Это бездны следы, на лазури ее отпечатки,
это вечности цепкий, недвижно-внимательный взгляд.
Сохраняется все на фасетчатой влажной сетчатке:
никуда не уйдешь, никогда не вернешься назад.

Неподвижно плывут облака, циферблат никогда не проснется,
дом стоит на пригорке, и в этом какой-то расчет.
А река под горой и вода в подземелье колодца
все течет, Гераклит, все течет, и течет, и течет.

Я сослан в немоту, туда, где уже давно Макар и телята, где зимуют раки,
где в бубен бьет и старым сухим ребром играет мой ровесник бес,
где в логове слов над листом бумаги согнулся, высунув перо и язык, Акакий
Акакиевич, перебеливая циркуляр, спущенный по инстанциям ему с небес.

Плачь не плачь, утони в слезах, но если, если тебе изменила Муза,
если над притяжением, над упругой волной словесной утрачена власть,
что тебе жар глаголов, тяжесть существительных, клейковина союзов,
и наречий неверная, невесомая и не очень понятная вязь?

Я — ловец и добыча, живу у словесной реки, вдоль ее гужевого потока,
там, где бог из плавучей машины, как капитан Немо,
вываливается и подслеповато щурит глаза,
я бреду вдоль течения, бесполезными жабрами хлопая, как после потопа,
и в обратный бинокль, пролетая, безмолвно глядит на меня стрекоза.

Я молчу, я молчу, я молчу, я молчу, покуда по верхней
стороне воды медленно приближается утлый, угрюмый член,
и впустую перебираю мережки синтаксиса, трясу грамматики верши:
где откуда куда вот теперь и если впрочем будто и уже ни при чем...

Олеся Николаева /Москва/

ПАСТЕРНАКОВСКОЕ ПОЛЕ

Продали, разделив на доли,
овраг, святой источник скрытный
и пастернаковское поле
под вип-застройку, рай элитный.

Где надышала ночь туманы,
простоволосая, босая,
заборы встали, будки, краны,
рубя пространство и кромсая.

И странно — привкусом измени
стал даже ветер мазать губы:
контейнеры, времянки, стены,
бульдозеры, столбы и трубы.

Лицо пейзажа, как от боли,
скукожило, перекосило,
и ангелов земли и воли
загнал монтажник под стропила.

К утру они своей бедою
с небесной делятся артелью:
прикрой нас дымкою седою,
в снега зарой, смешай с метелью.

И льдом задрай все дыры, норы,
а для победной укоризны
яви завьюженные горы
и первозданные белизы!

И пусть корявый можжевельник
с кустом Синайским ищет сходство.
И пусть почует вип-насельник,
Чьё царство тут и Чьё господство!

ВЫМЫСЕЛ

Себе придумал родословную:
«Дед – князь из рода Дадиани»,
обиду подгоняешь кровную
под бурю чувств в твоем стакане.

И, якобы, в придачу к титулам –
таков рассказ твой сокровенный –
был дед назло семейным идолам
рукоположен в сан священный.

И, якобы, в дорогу узкую
увлёк с собой он, сгрёб в охапку
одну танцовщицу французскую,
княжну – твою родную бабку.

Грузин, а в храме католическом
он обвенчался, но с налёта
ты в трепете своем мистическом
твердишь про «кирху» отчего-то...

Твой странный блеск между ресницами
профанов мажет по сусалам
несбыточными небылицами
и сном о веке небывалом!

Конечно, в мире столько грязи и
следов мышиного злодейства,
что хочется нырнуть в фантазии,
и в княжества, и в лицедейства.

Судьбу безвольную, безликую
стереть, переиначить главы
и написать многоязыкую
историю любви и славы.

Чтоб жизни — норова сурового —
подать на бедность из кармана:
из эпоса средневекового,
из авантюрного романа.

И древнегреческой трагедии
играя первом оголённым,
пропасть совсем в чужом наследии
с желанием неутолённым!

«ТЕАТР»

День проводили честь честью и встретили
ночь, и вступили в шеол...
Только актеры пока не заметили:
зритель последний ушёл.

Тщатся, стараются – жестами, мимикой
обворожить, обаять...
Пафосом, эпосом, икосом, лирикой
сердце могли б надорвать.

Только ответом им злая, гремучая
в зале пустом – тишина.
Речка подземная, струйка горючая
да перетянутая струна.

Выйдешь на воздух – сплошная обочина,
глушь, да задворки, да тьма.
Ветер свистит:
– Ваша пьеса окончена,
так не сходите с ума!

Ваша Гертруда, как девка, торгуется...
В Гамлеты метит крепыш,
да под Офелию всё гrimириуется
сорокалетняя мышь.

Кончен спектакль – и иссякли желания:
зрители спят до трубы.
Что ж не уимется вся ваша компания,
всё – «бу-бу-бу», «бы-бы-бы»?

Тут монолог вековечный заученный
все начинают твердить:
– С этой вот сцены бесценной, замученной
некуда нам уходить!

Будем до смерти играть – то раскручивать
жизни пружину, то рвать:
правых оспаривать, мёртвых озвучивать,
вместо упавших – вставать.

УРИЯ

Когда любовным треугольником ты сдавлен и закрыты шлюзы,
а ты в ночной тоске невольником блуждаешь вдоль гипотенузы;
и с этой внутреннею бурею сражаешься ты, как галерник,
особенно когда ты – Урия и царь Давид – тебе соперник;

и от бессилия, бесславия ты, словно вспорот, перекроен:
всё спуталось – война, Вирсавия, и муж обманутый, и воин...
И в этих образах двоящихся ты – резь в глазу и жало в горле,
чтоб тысячи к стене мочащихся тебя из Книги Жизни – стёрли!

Как ни крути, как ни развязывай, – всё выйдет зло, и боль, и битва,
и драма, и беда, и с язвами луна, бессонница, молитва...
И царь тебя своей десницею пошлёт за гибелью внезапной,
но взыщет Бог с него сторицею: «Где воин Урия? Где раб мой?»

...Вот отчего кимвала славного раскаты в поле сиротливом,
и от лица героя главного метель поёт псалмы с надрывом.
И поднимается от пения всё на воздусях с солнцем красным.
И – жаль всего: любви, смятения, всего, всего – с лицом прекрасным!

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК

«Что приключилось с ним?» «Чума! –
всплакнула мать, скорбя, –
он утром встал, сошел с ума
и вышел из себя».

И он пошел на красный луч,
пошел на синий глаз
и понял разговоры туч
и дерева рассказ.

Язык земли и речь осин,
и куст цеплял его
словами: «В мире ты один!
Нет больше никого!»

И мир ему сквозь скрип телег,
сквозь плеск дождей и рек
кричал: «Ты — первый человек!
Последний человек!»

И всё пространство темноты,
и луч, в глазах рябя,
ему твердили: «Только ты,
никто, кроме тебя!»

А эти люди и дома,
вороны, муравьи, —
лишь порождение ума,
лишь помыслы твои!

И солнце, и покров дождя —
рисует страсть твоя:
она — то в образе вождя,
то в образе червя.

И даже мать из слез и слов,
хлебов, закатов, роз —
лишь персонаж волшебных снов,
обрывок детских грёз.

Сработаны на твой заказ
вся эта плоть и жесть.
И если ты умрешь — тотчас
погибнет что ни есть.

И люд, и град, и свет, и рай –
дары твой любви:
поэтому – не умриай,
поэтому – живи!»

Он слышит выпь, он видит сныть,
туманы поутру,
и говорит он: «Так и быть!
Тогда я не умру!»

Сжимая пальцы, на ветру,
с лица стирая пот,
вновь говорит: «Я не умру!
Я буду, буду, вот!»

Он слышит эхо: « Не умру!»,
он рвётся из сетей,
он гонит в чёрную дыру
зарвавшихся чертей.

И Смерть за косу ухватив,
кричит, огнем горя:
«Бада! Ты есть, пока я жив
и мне благодаря!»

ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА

В тысяча девятьсот восемнадцатом от Рождества Христова году
Генерал Алексеев в температурном бреду
Борется с инфлюэнцией, затыкает ей рот: молчи же!
Давит ей на глазные белки,
Рвёт на ней струны, выдирает с мясом колки:
Ладонь у него в крови, и в печени у него грыжа!

Но жар плавит мозги, скуживаются в огне,
Свиваются черным дымом, сливаются в вышине
Золотокудрый ангел, всадник на черном на коне
И Государь император — самодержец Российский,
Польский, Финляндский, Казанский.

Впрок
Жара нагнали, кровь стучится в висок,
И генералу на грудь давит крест малтийский.

И Государь перед ним как вживую — атлант, гигант:
«Ваше превосходительство, генерал-адъютант,
Вы хоть не предадите?»

И словно жало:
«Вы ж не из христопродацов! Не тать, не зверь!»
«Ваше величество, полно, к чему теперь?» —
Так отвечает кто-то голосом генерала.

Генерал Алексеев кончается!
Тиф, пневмония, круп.
Он смотрит и смотрит в небо, как пруд, как труп,
Не моргая, руки по швам и убиты нервы.
Только отблеск кровавый из-под открытых век —
Там горят синим пламенем девятнадцатый век,
И двадцатый век и век двадцать первый.

Там горят Предел Богородицы, Царский род,
Юнкера, офицеры, солдаты, крестьянский сход,
Круг казачий, хохляцкий шлях, иерейское сердце,
И дворянские идеалы — и стать, и масть,
И купечества честное слово, и почвы власть,
И монашеский дух христолюбца и страстотерпца.

...Догорай, умирай и воскресни!
В знак этой вины
Осаждай снова Плевну, пройди три стены, три войны,
У черты роковой помолись Приснодеве Марии,
Доложи Государю: «Подавлены бунтовщики,
И пожары потушены, и при параде полки
Царской армии генерала от инфантерии!».

ТЕЛО И ДУША

Разве мучает себя лес? Терзает ли себя сад?
Волк — занимается ли самоедством, лось — прыгает ли в огонь?
Жалит ли себя змея, глотая собственный яд?
Топит ли себя цапля? Топчет ли себя конь?

Бодает ли себя бык? Колет ли себя ёж?
Играет ли на своих нервах сверчок? Прыгает ли в колодец мышь?
Только ты, тело, напролом против смысла прёшь,
Только ты, душа, против солнца встала, глядишь!

Кличет ли к себе саранчу спеющий виноград?
Призывает ли на себя град зрелая рожь?
Только ты, тело, — души своей супостат,
Только ты, душа, печень свою клюёшь!

Носит ли в себе гнев — соловей и зависть — пчелиный рой?
Пилит ли себя дерево? Пьёт ли свой мозг барсук?
Только ты, тело, при жизни смерть кормишь собой!
Только ты, душа, при жизни мертвеешь вдруг!

«ТРИ БОГАТЫРЯ»

С. Ф.

На переднем плане три пары ног лошадиных, шесть вертикалей,
и притом ни одна из кобыл не взбрыкнёт,
не ударит в землю копытом,
этакий частокол — колонны Большого театра,
однообразье деталей,
кони самодостаточны, унылы, сыты.

Да и богатыри под стать им — скучны, безъязыки.
Латами скрыты тела, головы — шлемами, всё условно,
хоть и вовсе закрась им лица — будут также безлики,
словно знаки иль манекены — все поголовно.

Пусть бы хоть Алёшка Попович махнул кудрями,
иль Добрыня Никитич врагу показал дулю,
да Илья Муромец бы изобразил бровями:
он-де слышит птицу вещую — кукующую зозулю...

Но слишком высока линия горизонта, заземляя картину...
Не хватает неба, воздуха, свинцовыми облаками
заволакивает головы, и богатырям в спину
утыкается пространство лбом и всеми руками...

Там — зеленоватые холмы затаились, скрдывая и пряча
выделку доброй кольчуги леском, дымкой увитым.
А на переднем плане — яркие разноцветные клячи
верховенствуют своим колоритом!

Никто не отбрасывают теней... Ни спереди, ни слева, ни справа
свет не бьёт наотмашь, чтоб заслонять рукой, и отныне
хрестоматийная эта банальность очевидна и величава
лишь для школьника в сочинении по картине.

Но особенно ударяет в глаза контраст оранжево-синий.
Это Поповича оранжевые порты и синеющая рубаха.
Это иссиня-чёрный корпус коня, это из вертикальных линий
жёлтый сапог – охрою бьёт с размаха.

И от этой выставки модной обуви – броской и разнопёрай,
Рембрандт ворочается в гробу, вот-вот вовсе перевернётся,
а меж тем пейзаж, подавленный монументами, шевелит хворой
травой, манит изгибом леса, на волю рвется...

...Так мне друг мистик растолковывал жизнеподобья
ложь и лукавство, когда оно замахнулось
на сакральность мифа...
Лишь булава да копья,
да коней копыта, да плавных холмов сутулость.

Лада Пузыревская /Новосибирск/

НИКОГО НЕ ПРОЩАЯ

выходили из круга, говорили о разном
забывали друг друга наши мальчики в красном
наши девочки в белом, провожая — прощались
обведённые мелом больше не возвращались

вот — пустые дома, как несданная тара
вот и сходим с ума — а чего не хватало

время корчится в схватках, выпуская из пасти
ужас в детских кроватках, ядовитые сласти
табардин горизонта в кровоточащий рубчик
а какой в том резон-то,
что ж ты медлишь, голубчик

под собой сук рубя, выживать тяжелее
никого не любя, никого не жалея

все остались довольны полем чистым не минным
сроду страшные войны достаются невинным
некапризным, негордым, невезучим и сирым
к тихой жизни не годным —
дай же, Господи, сил им

хлеб крошить голубям, завтра не обещая
никого не губя, никого не прощая.

ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ

там, где нас нет, и не было, наверно,
где даже сны — пиратский фотошоп,
и воет ветер в брошенных тавернах —
там хорошо.

где нас уже не будет — там, где мы
в нелепых позах,
не лишенных шарма,
взлетали с арендованной кормы,
карманную прикармливая карму.

и упливали в ночь неправым галсом,
где рыбы мрут от съеденных монет —
о, как же ты блистательно ругался,
что счастья нет.

верстая стих запальчиво запойный,
смерть прогибалась радугой-дугой —
ты про меня, пожалуйста, запомни
другой, другой.

на расстояньи наши взгляды вровень.
так хорошо, что дальше — не сослать,
а то, что мы одной бродячей крови —
так не со зла.

мело во все пределы по полгода,
бросались тени замертво на снег —
ты глянь, какая выдалась погода
там, где нас нет.

СТРУЖКА

эти тени под глазами эти медленные руки
нам не сдать зиме экзамен
нас не взяли на поруки

и не в жилу божья помошь
мало в детстве нас пороли
позвывные и пароли растеряли не упомнишь

скоро сказка станет басней
вот и вечер смотрит волком
с каждым выдохом опасней на снегу хрустящем колком

наши горы наши горки
мы застряли в средней школе
не пойму о чем ты что ли этот кофе слишком горький

обнимающим друг дружку
выжить бы не до блаженства
здесь мороз снимает стружку ради жести ради жеста

ветер бьётся взвыл и замер
как в предчувствии разлуки
эти тени под глазами эти медленные руки

побелеет дом наш дачный
память снега все острее
круг вращается наждачный все быстрее все быстрее

Сергей Шестаков /Москва/

СКАРАБЕЙ

лиловый холод ляжет на ресницы,
как только, лапкой шевельнув своей,
перевернёт последние страницы
волшебный жук, небесный скарабей,

и алфавит уже не будет прежним,
и, с каждой буквой чувствуя родство,
ты вновь увидишь зрением нездешним
изнанку мира, света естество,

и станет речь твоим числом и кровом,
зелёной кровью, хлорофиллом снов,
и ты себе приснишься полусловом,
готовым с губ слететь подобьем слов,

и так восстав из тлена и бессилья,
суглинков бедных и бесплодных глин,
ты вновь расправишь жёсткие надкрылья
и сладковатый ощутишь хитин,

но если плоть не обернётся словом,
кому ещё прошестит листва,
когда повеет холодом лиловым,
и пустоту завесит синева,

и с тишиной опять солются звуки,
и он увидит в мареве скорбей,
как золотистый шар луцисторукий
по небу катит новый скарабей...

говори, говори со мною,
говори, даже если свет
обернётся такою тьмою,
из которой возврата нет,

говори, даже если губы
лубяная сведёт тоска,
полоумные лесорубы
ждут безумного лесника,

говори, говори дыханьем,
криком, шёпотом, немотой,
яблонь розовым полыханьем,
горем, радостью, всей собой,

чтобы время не шло, а пело —
до предела, до той поры,
как вонзятся в глухое тело
милосердные топоры...

ОВЧАРКА, ЗЕРКАЛО, МАЛЬЧИК, СТАРИК И БУДДА

(два стихотворения)

1.

с мечом картонным и лошадкой,
издав победоносный крик,
заглянешь в зеркало украдкой,
а там — собака и старик,
поймешь, что нет в отваге смысла,
уткнешься в теплое, смятен,
но кто из вас кому приснился,
не прояснит и новый сон...

2.

вернешься дать воды овчарке
и в зеркало посмотришь впрок,
а там — на лошади-качалке
с мечом картонным юный бог,
забудешь, где ты и откуда,
кто в зеркале из вас, кто вне,
овчарка спит, ей снятся будда,
старик и мальчик на коне...

ввысь по холмам лазурным, по синим кручам,
млечной не убоявшись и той, что за ней, стерни,
в будущем больше прошлого, чем в текущем
нынешнем, орошающем эти дни,

мысль обретённая, маленькое цунами,
сущее опрокидывает, как грааль,
всё, что мы видим, видим не мы, а нами
всматривается в иную даль,

катятся звуки полыми валунами,
этот орган без клавиш, одна педаль,
всё, что мы слышим, слышим не мы, а нами
вслушивается в иную даль,

мнимое исчислимо, как на бирнаме,
подлинное – вне меры, границ и вех,
всё, что мы любим, любим не мы, а нами
делится неделимым, одним на всех,

голову запрокинь без полей и скобок,
солнечный блик на коже, весенний спам, –
всё, что возьмём с собой, как пойдём бок о бок
ввысь по лазурным кущам, по синим снам...

человек надевает пальто,
чувствует, что не то,
вроде его и пальто и дом,
но как-то не эдак ему сегодня и там и в том,
он отпихивает кота, мурлычущего у ног,
кот поджимает хвост, думает: тоже мне полубог,
думает: тяжело, видать, на таких двоих,
думает: стал человеком, не узнает своих...

МАЛЕНЬКИЕ ПОДНЕБЕСНЫЕ ЭЛЕГИИ

1.

одинокому взгляду негде остановиться,
говорил бо фу, разливая чай,
разве что пугливая прилетит синица,
приютит бездомного невзначай,
мысль — единственное прибежище человека,
ночью все мы сироты, даже и в парче,
говорил он медленно, смерть — всего лишь дверка,
и синица прыгала на его плече...

2.

посох, поводья, подводные корабли,
птицы железные, облачная плерома,
что ж, очутиться за тысячу ли
можно, не выходя из дома,
тихо бо фу бормотал, убавляя свет,
ты далека, но память полна свеченьем,
сущее неделимо, и ближе нет
в мире двоих за чаем своим вечерним...

3.

пепел и персть — а другой и не будет пищи,
нет воронью поживы, не вьется тучей,
ищущий обращается в то, что ищет,
большая часть пути — это сам идущий,
думал бо фу, если мысль — то река, то лодка,
что ею движет: солнечный взгляд с порога,
утренний золотистый пушок у локтя,
голос пророка, небо в глазах пророка...

он говорит говорит я дал тебе алфавит говорит я дал тебе мир и меру
время я дал тебе говорит и всякую мысль и свет наделил тебя сим и тем
ты из тыщи тыщ нишете чету на щите тщету утвердил возлюбил химеру
падаешь падаешь в перстъ человечью млечью вничеловечью темъ
александрийские библиотекари чащи чаши чаны черного молочая
рыб уже гласных нет и согласных птиц последний корчится козодой
буквы такие маленькие а жизнь такая большая
он говорит говорит говорит и гасит гасит звезду за звездой...

дождь лил и лил, лиловы были дни,
когда тебя оплакивали в вышних,
как будто став подобием родни,
или собрав причастных на девичник,

металось пламя чёрное в груди,
и тьма росла, и звуки мира глохли,
и смерть твоя стояла посреди
осенних вод, вся в пурпуре и охре,

и смерть твоя сочилась между строк,
и корчилася, и сладко ухмылялась,
что не сумел, не смог, не устерёг,
что всё в сравненье с ней — тщета и малость,

дождь лил и лил, и словно вторил ей,
что всякое смешно обетованье,
что все слова в любом из словарей —
её земных имён чередованье,

а я твердил, что скоро им в закут,
что ты вот-вот, устав от их занудства,
шепнёшь: апрель, — и вишни зацветут,
шепнёшь: весна, — и пеночки вернутся,

пусть мы ничто и меньше, чем петит,
неотличимы от песка в пустыне,
но пеночка уже летит, летит,
летит назад из залетейской стыни.

ДВА ПИСЬМА

Лене элтанг

1.

пишет молочнику булочник: знаешь, анри,
жизнь обветшала, не просит и малой краюшки,
сил на полушку уже, и, куда не сверни,
всюду зима да земных сторожей колотушки,
видно, обнимемся скоро и, как ни крути,
вновь попирем у клёнов под сплетни сороки,
ты же, наверное, главный на млечном пути,
вот и подумай о булочной рядом дороге...

2.

пишет молочник: мой добрый, мой славный рене,
дружба прочней естества и устойчивей к порче,
как же я рад прилетевшей сегодня ко мне
весточке этой по телепатической почте,
булочный домик с пекарней закончат вот-вот,
здесьние клёны тенистей земных и просторней,
будем смотреть на течение медленных вод
и наблюдать за одной из всемирных историй...

и эта осень такая-сякая,
такая-сякая, да,
что мы друг в друга летим, сияя,
как в омут летит звезда,

и эта зима такая земная,
такая земная, да,
что мы друг в друге цветём, не зная
усталости и стыда,

и эта весна такая хмельная,
такая хмельная, да,
что мы друг друга поём, меняя
галактики и года,

и это лето такое цветное,
такое вот, боже мой,
что всё опять повторится весною,
и осенью, и зимой...

Ольга Андреева /Ростов-на-Дону/

ЕВА

Всех и дел-то в раю, что расчёсывать длинные пряди
и цветы в них вплетать. У Адама ещё был треножник,
он макал рысью кисть — и стремительно, жадно, не глядя
создавал новый рай — и меня. Он пытался умножить,
повторить... Мы — не знали. Кто прятал нас? Вербы? Оливы?
Просыпались в лугах и под ясеневым водопадом,
не твердили имён и не ведали слова счастливый,
ничего не боялись — в раю не бывает опасно.

Там, где времени нет — пить на травах настоящий воздух...
Я любила рысят, ты любил пятистопный анапест,
лягушачьи ансамбли и тех кенгуру под берёзой.
Мы не знали, что смертны, и даже что живы — не знали.
Быль рекою текла, вряд ли я становилась умнее,
наблюдая, как птицы отчаянно крыльями машут,
огород городить и рассаду сажать не умели —
а в твоём биополе цвели васильки и ромашки.

Но закончилось детство — обоим вручили повестку —
и с тех пор мы во всём виноваты, везде неуместны.
Мы цеплялись за мир, за любую торчащую ветку.
Нас спасёт красота? Ты и правда во всё это веришь?
Все кусались вокруг, мы старались от них отличаться...
Кроме цепкости рук — только блики недолгого счастья.
Корни страха длиннее запутанных стеблей свободы.
Только в воздухе что-то — пронзительно-верно. И больно...

Олег Бабинов /Москва/

ЛЕСТНИЦА НА НЕБО

Дым над водой и пламя в небесех.
Я постепенно забываю всех:
вот этот кто-то из Днепропетровска,
с которым много выпито вина,
и эта кто-то там из Люблина,
с интуитивной нежностью подростка.

Особенно она — из Люблина —
изъята из меня, истреблена:
убили, расчленили марсиане;
когда они вошли в её мозги,
как Джими в домик в Новом Орлеане,
там были Дженис и её Макги,

и призраки. А я ещё храбрюсь.
Я, собственно, такая Мини-Русь:
расслабился — и угодил под эго,
и то ль на смертну сечу рвётся рать,
то ль рыбки половить, грибков собрать,
то ль на плохом английском поорать
про лестницу, ведущую на небо.

МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ

Отшуршали наши кисти по холсту –
малого голландца видно за версту.
Мёртвая природа, биты фазаны'.
Вот и отстрелялись наши пацаны.

Малого голландца видно со спины
по стихам со вкусом вяленой слюны.
Приготовил повар муху из котлет –
книгу, череп, глобус. Пачку сигарет.

То ли в Самарканде, то ли в Бухаре,
русскую радиостку спрятав в бороде,
сваленной из мягких войлочных антенн,
жив ещё полярник бывший – Эроген.

А над Самаркандом и над Бухарой,
над больной, поникшей долу пахлавой,
над притыком мёртвых слов, проулков, стен
ищет Эрогена лётчик Техноген.

Здесь порой такая ледяная тиши.
Боже, я – Челюскин! Где же ты летиши?
А порой такая гробовая дрожь.
Спасе, Ляпидевский, как ты нас найдёши?

Скоро ставить ёлку. У меня ОРВИ.
Запытал шпиёнку, далеко ль свои.
- Спятил. Пьёт. Контужен. Амундсен, как скот.
- Что у нас на ужин?
- Битый самолёт.

На соседней льдине с трубками во рту
малые голландцы скрип да скрип по льду.

ВНУТРЕННИЙ ЧУКЧА

Петре Калугиной

В каждом из нас кочует внутренний чукча.
Одни его и не чуют. Иные – чутче
к письмам, что вечный хозяин им сыплет с неба
то этим, то тем из десятка изводов снега.

Когда в океане глыба таранит глыбу,
внутренний чукча тянет за рыбой рыбу.
Титаник неумолимо летит на льдину –
чукча строгает мёрзлую оленину.

Внутренний чукча внешне неразличаем,
но заблудившийся путник им выручаем:
в снежной пустыне – внутренней или внешней –
будет согрет счастливец чукчанкой нежной.

Что мне поделать с северною бедою?
Близко я дружен с огненною водою.
Мягкий и трепетный шмат тюленьего жира –
ниц, как душа у врат подземного мира.

Северный бог съедобен и даже лаком.
Я стану свободен, доверив рулить собакам.
Лишь глупый охотник следует за собой,
а мне хорошо здесь – с вороном и совой.

КАК ХОДИТ СНЕГ

снег ходит сединою вниз
висками по земле
цепляясь пальцами красивых белых ног
за ветку провод и карниз
он ходит
пустыней ледяной
внутри промокших кед
сложив собою слой
собою по себе

и он наш блудный сын
наш повредившийся умом несчастный дед
любовница и опыт наживной
и наш один нонконформист

дождь скакет белками
а снег идёт слонами
дождь кратковременный
а снег идёт всегда
интересуется а не москва ль за нами
ну да

МОЛИТВА БЕДНОГО РУССКОГО

Дал бы нам Господь пожить посерёдке –
пусть без песен райских, зато на ветке.
Без залома чтобы – не как селёдке,
и не к водке – к пиву чтоб, как креветке.

Чтобы мир с войной объяснились мирно
и потом разъехались бизнес-классом,
чтоб любовь заквашивалась кефирно,
чтобы ипотечила средним квасом.

Чтобы отвернули от нас татары,
не клевали клювами крестоносцы.
Чтобы мы, мошенники и каталы,
не плевали в крохотные колодцы.

Я забыл, как звали ту, с которой
в гнилостном Нескучном, при луне
мой сокурсник, связанный с конторой,
ревностно встречался обо мне.

Мой куратор тоже как-то звался.
Как-то звался, только я забыл.
Я боялся, но не признавался,
лишь того, нескучного топил.

На Тверской был флэт конспиративный,
старый дом, из кухни чёрный ход.
Там теперь клиент корпоративный
питерский строительный живёт.

ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ

Щенки от суки чужой войны
и кобеля ясна сокола.
У каждого по две головы
как минимум, как люблю.
Но щенки тяжело больны
восхититом высокого —
в канаве средь пожилой травы
я их, как в себе, топлю.

Всякий раз, когда мы с тобой,
видимся подле кулера,
под здоровым сердцем скучит
нездоровы щенок.
Снег летит за моей судьбой
в Тропарёво-Никулино.
Дух летит, там где свет горит —
иногда между ног.

Ты ж прости меня, голубя
Вертухая Насильича,
что на голову Гоголя
Николая Васильича.

МОЛОКО

Вот толком и не пил из этой фляги —
ну самое большое три глотка,
а детский сад и пионерский лагерь
ушли единственным лотом с молотка.

Теперь живу – меж пультом и попкорном
седой бифштекс и прерванный гопак,
и мальчик с навсегда отбитым горном
ожившим пальцем, от мороза чёрным,
показывает дяде факт-расфак.

Вот женщины мне машут, словно флаги –
на День благодарения – бедняги –
повешены из каждого окна.
Вот толком и не пил из этой фляги,
а эта фляга выпита до дна.

Недалеко от бритого затылка,
от поротой спины недалеко
молотит и молотит молотилка
и лезет сепаратор в молоко.

Заправлена казённая простынка,
заиграна солдатская юла,
заела толстых битлов пластиинка,
корундовая сточена игла.

РЕКА

… но кто я, будда меня секи,
чей стон у меня в рожке?
И если нет рыбака в сети,
то что там, вниз по реке?

К чему здесь гончак – окрылён и борз,
охотники и олень,
когда под копытами стёрся ворс,
кончается гобелен?

Контессы, епископ, рыбак в реке.
Любовники и враги.
Но, если вместо рожка в руке
нет никакой реки...

КОРОЛЬ КОЗЛОБОРОД

От улицы Коровий Вал
до Сретенских Ворот
на белом джипе гарцевал
король Козлобород.

Дудели простенький мотив
гаишники в рожки,
и солнце, как дистрибутив,
грузилось вдоль реки.

Тарам-парам, парам-тарам,
держи его, держи!
По тротуарам и дворам
уходит вечный джип.

Любовь лежит, как бутерброд,
у ног, где реагент.
А я голодный нищеброд,
отчисленный студент.

ФЛОТ

Когда нас вызовет на суд
прокрастинатор-кrot
и скажет: «Там, и сям, и тут
вы виноваты вот и вот»,
нас четвертуют и запрут,
и наши имена сотрут
и с воздусей, и с вод —

тогда на выручку придёт
из жарких нулевых широт
волшебный русский флот.

Босой ногой, как зимний дым,
ошупывая лёд,
ошерясь Пушкиным седым,
в темницу он войдёт,
и нам, за Мезенской губой
непозванным к столу,
нам с нашей чувственной губой,
раскатанной к теплу,
он протрубит: «Проснись и пой,
и пой «Прощай, Лулу!»

То не Вертинский нам поёт —
то вертится великий Пётр,
предательский наш дух.
Он виноват, он признаёт.
Он отнесёт наш Питербурх
на юх, на юх, на юх.

Там наши почва и судьба
под тёплою волной
голы до дна, вот стыдова,
развязжутся с войной,
и мы, как птицы кораблей,
стрекозы субмарин,
наевшись соли и соплей,
над миром воспарим.

Виталий Кальпиди /Челябинск/

ПЕЧАЛЬНЫЕ ХОРЫ АРИСТОФАНА, ИЛИ ПЕСНИ ПЫЛЬНЫХ ПЧЁЛ

*Стригущим ногти посвящается:
жизнь не идёт, она — вращается...
Но, обрезая кромку падали,
мы улетали, а не падали.*

Введение (в роли прорицания):

Смотри на женщину в летах,
на птиц, летающих по лету,
смотри на груди у Натах
(у Танек их, похоже, нету).
И в дополнение к эротике
(не напрямую, а отчасти)
цветы, приоткрывая ротики,
в итоге разевают пасти.

*1. Гость, кто знает, что хуже татарина
лишь дизайнеры для абортария:*

В остывающей части Вселенной,
где скопления пыли прямы,
их кузнецик, как военнопленный,
кандалками грохочет из тьмы.
С голодухи их бабочкам скучно
карамель проносить мимо рта,
там шуршит (потому что сыпуче)

кропотливое зренье крота.
Там сидят на молочной диете,
раз молочные зубы жуют,
там рождаются пьяные дети
и не плачут, а сразу поют.

Хор:

Исковерканы там на второе
дирижабли, коты, небеса,
а на первое – камень для боя
моментально находит коса.

*2. Красивый Штирлиц,
скупщик ворованых мыльниц:*

Уральским утром пастор Шлаг,
достав (какой – не важно) шланг,
на детском прыгая батуте,
свой садик поливал и *нах*
любого, кто не *Пастернах*,
просил дойти до самой сути.

Хор:

Не ищите аналогий,
проникайте в суть,
потому что жизнь в итоге –
пустота и путь.

*3. Придурок Борис Николаевич Ельцин,
повешенный бандой беременных женщин:*

Лейтесь, песни. Вейтесь, пейсы.
Невидимкою луна
смотрит, как вскрывают кейсы,

где лежит моя страна.
Доллар — добрый. Шекель — грубый.
Здравствуй, рубель Шикельгрубер.

Хор:
А из окна глядит покойник,
кусая грязный подоконник,
где круг зелёной колбасы
взывает: «Съешь меня, не ссы!»

4. Эразм Вротердамский, любитель уродцев
(скорее всего, он из города Вроцлав):

У бога ангел изо рта
торчит, как ноги из сугроба.
Вокруг — святая гопота:
картинка эта ей удобо-
варимой кажется. А мы —
Секс-пир во времена чумы,
где Глостер Корнуэлу выкал
и льстил, сгибаясь, как лоза,
покуда тот, нажав на «выкл.»,
не выколол ему глаза.

Хор:
Нам никак не надоест
тиражировать проклятье:
мы на бого ставим крест,
чтобы получить распялье.

5. Поклонник Агнии Барто
(чего не скажет, всё не то):

Уронил я Машку на пол
и давай оторву лапать,
пару палок Машке брошу,
потому что *hуй* хороший.

Я играю в городки.
Машка крутит шерсть в мотки.

Хор:
Идёт бычок, сношается,
вздыхает на ходу:
«Ой, что-то не кончается,
сейчас я упаду».

6. Писатель Булгарин (*а может, Булгаков*),
стоящий не раком, но кушавший раков):

Лежит жена, принадлежа
удару острого ножа,
над нею вьётся пьяный муж,
как уж, раскаявшийся уж.
Она орёт: «Какого хрена,
мне эмбрион кормить пора...» —
объёмней буфера обмена
дрожат у бабы буфера.

Хор:
Возле жениной двери
ходят твари из Твери,
а в руках у тварей — ватки
с кровью девственниц из Вятки.

7. Строитель Вавилонской башни,
ни разу бабу не евавши:

«Да здравствуют живые люди
и хрень, им поданный на блюде!» —
как написал, возможно, Хармс,
поскольку был известный хам-с!

Он в ванной медленно и кротко
сбирает время с подбородка,
и пена шлётается в слив,
полхари Хармсу откусив.

Хор:

А русская литература,
неподражаемая дура,
лежит большая и лохматая,
как хамоватая Ахматова.

8. *Валя Котик, пионер-герой,
человек-гора, ибо встал горой:*

Пояс мальчика-шахида
неотвратим, как панихида.
Пока мы небеса коптим,
он в принципе неотвратим.
Засунув руку в шариат,
наверняка нашаришь ад,
тем паче по земному шару
он расползается на шару.

Хор:

Смерть не жуткая старушка,
а весёлая игрушка.
А не крутится она,
потому что сломана.

9. Шут (*не то чтобы гороховый, хотя протисан на Гороховой, пускай не в городе Калуге, зато в кровати у подруги*):

Красота внутри лица
ходит, как тигрица в клетке.
Вырос пенис у мальца,
а на нём – глубин отметки.
Он по водам без фарватера
проводёт и прокуратора.

Хор:

Гигиена рук Пилата
дарит нам благую весть,
что ума его палата
трижды станет цифрой 6.

10. Андрей Тарковский (*он киношник, хотя по сути доминошник*):

«Философ – это фейерверк!» –
как утверждает – Фейер-бах!
И мы всё время смотрим вверх,
но остаёмся на бобах.
Гармония б свершилась, кабы
«бобы» переменить на «бабы».

Хор:

Мы живём легко и робко,
в каждом пенится вина,
трасса в рай – сплошная пробка,
если выстрелит – хана.

11. *Берия Лаврентий, реформатор*
(*знал диамат, но не ругался матом*):

И не важны ни кляузы, ни клятвы,
ни русский шум, ни бешенство латыни.
Слова тогда становятся понятны,
когда они стоят, как понятые.
Распятие – реклама коромысла
(её придумал плотник дефективный),
она без вёдер не имеет смысла,
по этой же причине – эффективна.

Хор:

В три горла жрёт верховный жрец.
И бьют в лицо радиоволны:
«Стране приходит РПЦец,
причем, скорей всего, что полный..»

12. *Старлей в пехотном камуфляже*
(*он безымянным в землю ляжет*):

Нам предстоит суметь
в Кремль ворваться в стиле:
«Родина – это смерть!»,
И никаких там – «или».
Боезапас на третью
мы изведём не мимо.
Родина – это смерть.
Если не смерть – чужбина!

Хор:

Ты понимаешь, что наступает край,
ты понимаешь, что он у тебя внутри,
ты убегаешь по белой дорожке в рай,
испачкав не пятки, а кромку одной ноздри.

13. *Допустим, Рейн (не Рейн – ручей,
и не ручей, а хрен ничей):*

А. Парщикова мне приятна спесь,
она к лицу счастливому поэту:
– Есть три рубля? – его спросили. – Есть
хочу три дня, да вот купюры нету...
Он деньги из купюры «три рубля»*
изъял, и от неё осталось «...бля!»

Хор:

– Сказка – ложь... Не «ложь» – «клади»
ты на всех и всюду.
И не бди, не бди, не бди,
и не бди...
– Не буду!

* Срочно читаем, кто ешё не успел, текст Алексея Парщикова «Деньги».

Йоргос Сеферис /урла – Афины, 1900-1971/

Перевод с новогреческого Андрея Гущина

ПО ПОВОДУ ОДНОГО ЧУЖОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Блажен, кто, странствуя подобно Одиссею,
Ощутил крепость канатов любви,
Напряжение тела, натяжение жил.
Той любви неумолчной, победительной, долговечной,
Что, однажды родившись, не скоротечна.
Да поможет мне бог в час великого торжества
Выразить суть любви!
Слышу голос её на чужбине – словно буря ревёт вдали.
Вновь встает предо мною тень Одиссея:
Глаза красны от солёной пены, от желания увидать скорей
Дым очага родного и пса одряхлевшего в ожидании у дверей.
Вот он стоит высокий, роняющий в поседелую бороду
Слова архаичного языка,
Ладони в мозолях от снастей и кормила;
Кожу иссущили ветры, зной и снега.
Он хочет спасти нас от сверхчеловека-Циклопа,
Видящего одним глазом,
От сирен, поющих песни забвенья,
От Сциллы и Харибды, пожирающих целиком,
И от прочих дивных чудовищ,
Чтобы мы не забыли, как духом и во плоти,
Был он роком по миру влеком.
Велик Одиссей – по его наущенью ахейцы

Деревянного смастерили коня и овладели Троей.
Теперь он учит меня, как сделать такого коня
И овладеть внутренней Троей.
Он говорит тихо, ясно и без усилий;
Так говорил бы со мной отец или старый рыбак,
Который в пору моего детства, опершись на сеть,
Под аккомпанемент зимней стужи пел об Эротокрите –
Слеза в глазу и в горле ком.
Я размышлял потом о злосчастной судьбе
Аретусы, сходящей по мраморной лестнице,
И забывался тревожным сном.
Он говорит, что наша память – парус, а душа – кормило.
И страшно по смерти подобно плевелам на току
Оказаться брошенным, сирым.
Горечь потери друзей, уходящих в пучину один за другим!
Нелепо учиться мужеству у мёртвых,
Когда не можешь обратиться к живым.
Он говорит, а я слежу за его руками, умевшими без заноз
Проверить, добротно ли вырезана фигура на носу корабля.
От него исходит тепло безмятежного синего моря
Посреди января.



Алексей Григорьев /Санкт-Петербург/

БЛЕСНА

По-весеннему кычет клошар,
Снег лежит почерневшими кучами.
А на небе сверкающий шар,
Ни любить, ни жалеть не приученный.

Золочёный пустой батискаф,
В океан уходящий обеденный,
Где по дну ковыляет тоска,
Словно шахматный конь недоеденный.

Где опять это утро, и снег,
И дорога, и школа, и госпиталь.
Где висит человек на блесне
Никудышной приманкой для Господа.

АЛЛО

Алло тебе, любимая, алло.
На две страницы снега намело.
И буквы над замёрзшими кустами
с воронами меняются местами.

Несу слова. А что еще нести?
Ты девочка, игрушка, травести,
озябший ангел над церковной крышей.
Мы поживём и, может быть, попишем.

Как вертится метельная праща!
Бог шурится, но снег не запреща...
Алло, родная, цигель ай люлю.
Мне кажется, что ты меня люблю.

ПИРОСМАНИ

посели его господи на облаках
в четырех стенах золотого света
дай ему холодного молока
не своди его в одночасье в эту
где одна лишь тень обнимает тень
в неурочный час у заветной мели
не позволь уйти ему в темноте
в предпоследний вечер страстной недели
слышишь как он бормочет покой покой
уже с той иной закрывая ставни
пока ты воскреснув зовёшь нико
на кого ты меня одного оставил

В МАРШРУТКЕ

эта женщина может быть не красива
(и, скорее всего, так и есть: не красива),
но когда она водит в маршрутке рукой по стеклу,
небо в левом квадрате над ней получается синим,
а в правом квадрате напротив гаснет последний луч.

а вода блестит на её капюшоне,
и маршрутка сквозь вечер всё так же идёт ко дну,
и сижу я похмельный и несколько отрешённый,
читая на спинке сиденья всякую ерунду.

а рукав её в звёздах, как будто в стразах,
и пока она чуть покачивает головой,
в безнадежье моём нескончаемо несуразном,
не вовремя объявившись, печалится бог живой.

ПОМНИШЬ

помнишь, как это было в начале:
истончался на дне сахарок,
и блестящая ложка стучала
детской чашке в пластмассовый бок.

голубые хрущёвки-обоймы,
плотно пригнанные этажи.
в односложном узоре обойном
разгляди проступившую жизнь.

что ж ты вырос какой-то неловкий?
быёшь посуду, плетёшься в собес,
наблюдая за первой проклёвкой
несмышлёныша смерти в себе.

видишь облако, кажется, лодка,
в фиолетовых брызгах плечо.
чай закончился, может быть, водки?
потому что не будет ещё.

потому что осталось немножко —
ровно-ровно тебе на испуг,
сердце-лодочка, лодочка-ложка
тук-тук-тук,
тук-тук-тук,
тук-тук-тук.

ЛАЗАРЬ

пока мир был со мной накоротке
(я, повзрослев, его перекурочил),
он мне являлся яблоком в руке,
блестел в углах натёртый, как паркет,
как дерево надёжен был и прочен.

так просто было жить среди начал
подобием вещей себе подобных,
где хлебница хранила запах сдобы,
который ничего не означал.

все было здесь: сверхновая полынь,
кленовая изогнутая ветка.
ходила в садик девочка-соседка,
колумб искал, куда ему отплыть.

второй январь постукивал в окно,
в ответ ему скрипели половицы.
вчера убили цезаря, столица
на днях была основана петром.

всё было здесь, и тоненький гобой
безвременье развёртывал, как фразу,
когда меня позвали: выйди лазарь,
возьми обратно жизнь свою и боль.

ОХОТНИК НА СНЕГУ

Февраль, февраль, и голуби над речкой,
и горка снега на печной трубе.
Охотники, идущие навстречу
друг другу, переходят в точку «б».

И видят клён у жёлтого вокзала,
автобусы на площади, базар
и снег, что возле школы набросало,
как тысячу мгновенных лет назад.

Они стоят у здания больницы,
чуть-чуть левее вывески «вино»,
и удивленный школьник круглолицый
глядит на них в больничное окно.

Я это помню: ржавые ворота
и зеркало в палате на стене.
Охотники сошлись за поворотом,
а прочее другое как-то не...

Куплю вина — зимой идёт охотней,
в автобус, чтоб согреться, забегу.
Единственный оставшийся охотник.
Единственный. Последний на снегу.

АХОВОЕ

Зима? Зима. Сиди себе и слушай,
как лифт ползёт, минуя этажи.
И холодно, и муторно, и душно,
и дерево в окне мешает жить.

Зима? Зима. И голуби над речкой,
дорога и заснеженный вокзал.
Неважно, что тут вечно, что конечно —
важнее, что я это описал.

Остаться тут? Увы, не этот случай —
не в этой середине января.
Ах если бы, ах если бы, ах лучше.
Ах дерево, ах голуби, ах я.

ПРОВИНЦИЯ

В провинции ни сплетен, ни сверчков,
в сельпо обед, на ужин макароны,
из женщин только Анны и Матрёны,
из карточных — «девятка» и «очко».

Добротное кряхтение ворон
сопровождает каждую получку,
и если где-то шарик кроет жучку,
так это по согласию сторон.

Не часто, но случается, что — вжик! —
махнет крылом над домом бабки Анны
нет-нет, избави господи, не ангел —
вполне себе потасканный мужик.

В шесть вечера двуручная пила
смолкает во дворе у деда Вали —
всё сущее скрывается в портале
на западной окраине села.

И слышно, как обёртку бон пари
находит мышь и местный параноик
бредёт тропой в иное, и иное
бредёт к нему и что-то говорит.

ЗИМНЕЕ

Какая стынь на белом свете, боже мой,
какая блажь, какой высокий клён.
Не антэлы, а редкие прохожие
взлетают над заснеженной землёй.

И снег летит — щекочется и дразнится,
и не на кого, в общем-то, пенять.
И, знаете, какая, к чёрту, разница,
что вы не очень любите меня.

И в парке так же холодно и мусорно,
и снег летит, и муторно, и не
уместна, в самом деле, эта музыка,
волшебная, чуть слышимая мне.

К НЕМУ ПРИХОДИТ ЖЕНЩИНА ВО СНЕ

к нему приходит женщина во сне,
к нему приходит женщина, как снег,
и скажет свет, и вспыхнет в изголовье.
и станут сад, и дерево в окне,
и скрытое доселе в белой тьме
предутренней капелью и любовью.

мы будем спать и сниться февралю,
пока цветные бабочки люблю
спешат последней нежности навстречу
пока не отвердел янтарь зари
и темнота, цезуры отворив,
мешает половодье с перворечьем.

СТИХИ

Люди приходят, садятся под сливами,
курят плохой табак.

Боже, какие они несчастливые...
Вот бы и мне так!

Вот бы и мне так, от горечи корчиться,
в кружке взболтав спирт.
Детство закончилось, лето окончилось.
Спи...

Тронешь сквозь сон золотые горошины —
звёздный ночной шрифт,
сложится так, что плохие, хорошие
люди прошли.

Светлый чертог над косыми салями,
бежевый лист ольхи —
всё лишь неровности в азбуке Брайля
всё лишь стихи.

Анна Асеева /Иркутск/

А маленькая девочка наивна,
Не задает вопросов, верит маме.
Она сидит за черным пианино,
И до паркета не достать ногами,
И косами трясет, а в них – бантами.
В саду же осыпается малина,
Подобна гамме.

И дальше так же – шариками ртути
Из ноты в ноту, от «секунд» к минуте
И к пальчикам, дорошим до октавы.
Пусть нет бантов, но есть кольцо на правой,
В саду малина опадает в травы.
А мамы нет.
И музыки, по сути.

Лишь иногда в сумятице вечерней
Ей удается улучить минуту:
Она в саду садится на качели –
В окне напротив жалобно и глупо
Ей улыбнется инструмент плачевный,
А маленькая девочка всё лупит
Этюды К Черни.

ПРО ЛЮБОВЬ

отрекись от своего,
что принадлежит по праву,
это было баловство
глаз и мальчиков кровавых

с возведением в лингам
самой главной из утопий,
по кисельным берегам
некончаемые топи,

в этом всë: крахмальный грунт,
в мутном небе коромысло
и любовь, как русский бунт,
без пощады и без смысла,

где в итоге всем равно —
к телу чистая рубаха.
эти пальцы — так давно —
даже ладаном не пахнут.

ничего не будет после солнца,
гаснущего медленно вдали,
и шмеля, летающего сонно,
женщина мертвa. но жив Дали.
ты жива ёшё, моя старушка.
синь сосёт глаза и васильки.
гаммельнская глупая норушка
захлебнулась воздухом реки.

НАДЕЖДЕ

И вон, смотри, глядят из высока
И для тебя взбиваю облака,
Друг другу шепчут – рано, мол, пока,
Но всё равно – уже, мол, скоро, скоро,
Поскольку ждёт тебя надземный город.
Июль под Илию по шву распорот,
Но в пару дней сошьются берега,
Уже дрожит купальщика нога,
На северах волнуется шуга –
Вот-вот в поход на город захолустный,
Где ты жила и письменно, и устно,
Ко всем добра и лишь к себе строга.
Взошла звезда, когда зрачок погас.
Так умирать – великое искусство.

Геннадий Рябов /Санкт-Петербург/

...не верите? Я видел это лично
и помню с незапамятных годов.
У Кушелевки — меж путей — табличка
на стойке:
«Место встречи поездов».

Представлю вдруг, как в час перед рассветом,
когда горит последняя звезда,
встречаются всегда на месте этом
уставшие за сутки поезда.

Притормозят.
— Привет! Ты как?
— Хреново. Ходил в депо. Ржा в раме у меня...
— Металл у-у-устал? Ну, это, брат, не ново. Я сам недавно шкворни поменял. Но ты держись.
— Держу-у-у-сь. И все же скверно. Не хочется закончить, как она...

В забытом тупике гниет цистерна.
Нелепая, ненужная. Одна.

А за перроном на пути запасном
со скорым электричка — о бок бок —
милуются.
И верят: не напрасно
их свел железный и дорожный бог.

ВЕЩИ

...обстановка спартанская — лишнего нет:
шкаф, кровать у стены, ноутбук, телевизор,
банка пива, смартфон, рядом карточка «Visa»,
да полпачки дешевых сырых сигарет.

Он стоит в полутьме. Не поймет, почему
держит веник в руке — словно делал уборку.
Да и сердце стучит, как моряк в переборку.
Будто тесно ему и в груди, и в дому.

Привести бы в порядок запущенный дом.
Дверь косую поправить, печурку подмазать.
Он полы за все годы не красил ни разу...
Не успеть уж. Стоит, озираясь кругом:

в приоткрытую дверь проникает рассвет,
шкаф, кровать, табурет, на столе телеграмма.
«Завтра утром. К шести. Не опаздывай. Мама».
Шесть без четверти...
мамы лет пять уже нет.

Есть мертвая вода: в нее опустишь руки —
и холод до костей. И видишь наяву
двух ангелов в аду. Сквозь голод, страх и муки,
за саночки держась, бредут через Неву.

Безут ведро воды, едва передвигая
столбы опухших ног — природе вопреки.
И не представить им, что есть вода другая:
течет меж берегов совсем иной реки.

Но и другая — есть. Течет вода живая:
такой лицо омой — ты снова свеж и юн.
Не помня о годах, о смерти забывая,
целуются над ней два грешника в раю.

Как в сказке, две воды даруют мне надежду:
я вижу облака, склонившись над Невой —
и обе у меня струятся пальцев между.
И так же, как река, я мертвый и живой.

Владимир Захаров /Санкт-Петербург/

Приходит осень на порог, раскинув желтые объятья,
И убежать от этих уз не в состоянии никто.
Уже колышется в окне ее застиранное платье,
Висит в прихожей на гвозде ее осеннее пальто.

И время накрывать на стол, по лету праздновать поминки,
Воспоминания лежат как лепесток под каблуком.
Жизнь разломилась как орех на две неравных половинки,
Но я не плачу ни о ком и не жалею ни о ком.

Все, что горело и цвело, теперь готовится к забвению,
Стекает охра октября на кроны, травы и цветы.
И нестерпимо привыкать к холодному прикосновению,
А как хранить тепло внутри не ведаем ни я, ни ты.

С души как палая листва спадает детская наивность,
Ветра нежданных перемен стучат в немытое окно.
Понять, простить и полюбить, не претендуя на взаимность,
Я никому не обещал, но должен, должен все равно.

Соленые мили, раскинулось море широко,
И те, что любили, ушли, нас покинув до срока.

А волны на берег выносят лишь пену морскую,
И кто мне поверит, что я об ушедших тоскую.

Забуду, что было, как раненый после наркоза,
С улыбкой дебила взгляну озорно и раскосо.

Порежусь глазами об острую сталь горизонта,
Умоюсь слезами и выдохну закись азота.

Галина Климова /Москва/

Когда зимы ворованную повесть
читаю перед сном строптивцу декабрю,
читаю — как молюсь
и страшно беспокоюсь,
всё не о том, не так я говорю,
всё вру народному подстать календарю.

Пусть повесть — не роман,
но длится, длится.
Декабрь лютует, снег прессуя в лёд.
И я, небоязливая синица,
уж если угораздило родиться,
то жизнь перезимую — на один пролёт.

Декабрь молчит.
И день не настаёт.

К Бунину в Грасе

Изношено небо до чёрных дыр,
горько дозрели до чёрных ягод оливы.
Чтоб вернуться к себе счастливым,
ступай, как дождь, по адресу:
Грас, Бельведер.

Ищи-свищи эту будто бы виллу
на рогах, на куличках —
пропащий день!
Не там ли вымахала через силу
русской ели колючая тень?
Игольчатый воздух на кромке лета,
и разговоры все о конце света
или конце слова...
который из них скорей?

Ни антоновских яблок,
ни тёмных аллей —
пусто в парке принцессы Полины,
по-кошачьи кричали павлины,
и молчал соловей —
не из глины.

По пьянке выкомаривая танцы,
каналъя Амстердам вихлялся на катке,
всё население — как малые голландцы,
там Ханс и Гретель в шерстяном платке,
на деревянных чурках и сестра, и брат —
и грезят о коньках с нуждой не в лад.

Москва чудит сильней, чем Амстердам.
Ей даже чёрт не брат,
 а мне — как мать родная.

Снегурки, валенки...

 Трамваи обгоняя,
в ушанке памяти померклой
бегом по Чистым вскользь прудам,
по зеркалам — проворной водомеркой.

Метелит вальс.
Чуть живы огоньки.
Здесь где-то Гретель, где-то Ханс,
курносый, на тебя похож.
— И кто б тебя узнал?
Кто помнит Мэри Додж
её «Серебряные коньки»?

Как маленькие дети в жестокой правоте,
слова любви и смерти мы шепчем в темноте.
Всё тише в сердце залпы,
а в воздухе — восторг,
всё к смерти клонит запад,
и лишь к любви — восток.

От косточки,
от праха какая вздрогнет твердь?
Нет выбора без страха.
Одно — любовь и смерть.

Сергею Надееву

Вот и семейное деревце зацветает:
сплошь междометия на уроке зимы,
а всё казалось, тепла не хватает,
и вроде бы стыдно попросить взаймы.
Ведь ни мне, ни тебе отдавать нечем,
и вдруг — зацветает,
растительный вызревает свет
лепестками,
тычинками,
возгласом человечьим...

Только речи о нас ещё нет.

ПЕЙЗАЖ С МЕШКАМИ

Мешки целлофановые —
сорт рукодельных цветов
или дешёвые из секонд-хэнда наряды —
на грузных деревьях,
на гибких фигурах кустов
трепещут телами — почти дриады.

Воздушные замки из себя состроив,
где фиговым листиком не прикрыться,
приют для продувных героев,
мешки вдруг прикинутся:
мы — птицы, птицы...
Синий — синицей,
розовый — снегирём,
а чёрный мешок — чёрный лебедь Одиллия —
исполнит батман и надуется пузырём,
трудовые порвав сухожилия.

Полощутся на небесных путях —
белый, голубой, красный.

Пейзаж с мешками:
кому — пустяк,
кому — отметка жизни несообразной.

Весь невозвратный выводок глаголов,
рванувших борзо из-под руки,
без отпусков и дармовых отгулов
учил дышать во всю длину строки,
пока луна тянула на лимон
в косноязычной круговерти:
нет у Любви ласкательных имён
и уменьшительных — у Смерти.

Известно, как секрет военный,
не тронувший детей и тронувшихся баб:
нет уменьшительно-ласкательной Вселенной,
где б жизнь держала слово
как масштаб.

Обид забористых частокол —
ни щели, ни лаза.
Слеза устремлённо ведёт протокол
из левого глаза.
Трава подстрекает.
Подводит тропа,
сто вёрст пешком до небес.
И что теперь плакать
и что роптать,
как дремуч мой путь
через крестный лес.

И язык мой,
возлюбленный враг,
предрекая неравную битву,
дальше Киева доведёт враз,
лишь Иисусову вспомню молитву.

Белый свет: умри-замри —
тьме не уступает.

Время тает изнутри,
вечностью питает.

Где месторожденье дня,
и координаты света?
— Время тает,
но меня
не меняет это.

ХРАМУ ТИХВИНСКОЙ БОГОМАТЕРИ В НОГИНСКЕ

1.

Сорваться с физики на «Пепел и алмаз»,
надышаться за 20 копеек западным ветром свободы.
Любая война — изнанка природы,
а жертва — герой из народных масс.
Подлой смерти не избежать в финале,
некуда деться —
в этом плюшевом Синем зале,
не предполагая,
что ты в приделе Чудотворца Николая.

«Дьявол и десять заповедей» крутили всё лето,
лишнего — ни за какие коврижки — билета.
Жуть и хохот на две серии,
хотя в первой тебя повязали,
и нервы уже на пределе —
в этом плюшевом Красном зале,
в бывшем приделе Преподобного Сергия.

Эстрада в софитах — там где алтарь —
певица и шлягер на три куплета.
Дед Мороз в запое, взахлёб январь
салютует тёплым пивком из буфета.

Задолго до кинотеатра «Юность»
колокола будили город по утрам —
здесь был Богоматери Тихвинской храм,
и молилась великомученица Елисавета.

2.

В комсомольском красном клубе,
в бывшем храме
белый голубь с веткой в клюве,
Богоматерь в раме.

В новом клубе, в старом храме
жарко до озноба.

– Гармонист, рвани, зазноба,
чтоб не кисла кровь!

– Вжарь, товарищ Маша,
зажигай, до гроба –
пролетарская напролёт любовь!

Руки ловки, ноги ходки,
так отгрёпывала дробь
и глазищами стреляла –
в бровь, в бровь!
Так плясала – как писала
кренделями на ковре,
и кадрили эскадрильей
разлетались в алтаре.

– Богородица Мария,
не страшусь гореть в огне,
не спасай, не надрывайся,
не кручинься обо мне!

Разгулялись комсомолцы,
щёки – кумачом.
Нипочём им богомольцы,
даже Царские ворота нипочём.

Горе!
Заживо во сне,
как травинка на стерне,
на заре сгорела Маша...

— Где ж теперь ткачиха наша,
лучшая в стране?

Виктор Куллэ /Санкт-Петербург – Москва/

«Смысла нет — всё ушло в процесс...»

С годами у нас в Колизее
становится всё не как надо:
толпа на опилки глазеет,
а клоун идёт по канату.

Ты думал: играться словами —
невинная, в общем, потеха.
А это — как в клетку со львами
входить без доспеха.

Стать неуязвимей алмаза
способна душа на костре лишь.
А хищникам хочется мяса
и зрешищ.

Говорят, все слова уже
были сказаны прежде нас.
Пущен на колбасу Пегас —
вот и постишишь стишкы в ЖЖ.

Идиоту не надоест
проверять на подлинность речь.
Смысла нет – всё ушло в процесс.
Вот его и увековечь.

Зарождаются, любятся, мрут,
клянчат дней.
С каждым канувшим этот маршрут
всё дурней.

Были ж люди – иным не чета.
Впрямь чисты.
Не осталось вообще ни черта.
Ни черты.

Оглушительный мусорный гул
немоты
стольких более сильных согнул...
Ну а ты,

равнодушен душою смешной
к барахлу,
словно Иов на гноище вой.
Пой хвалу.

Похоже, я останусь непрощён
за честность, что жестокости страшней.
Ворочать камни – проще, чем плющом
наверх карабкаться в миру камней.

Любовь – не наслаждение, а Свет.
Никто не виноват, что он угас.
Не хочешь врать – а сил на правду нет.
Вот и глумишься напоказ.

Не бойся – с жизнью счёты не сведу
(отчаяться, должно быть, староват).
По мне – так слаше сгинуть на свету,
чем полусумрак согревать.

«...я отдал свое семя как донор...»

Денис Новиков

Пытаясь согреться, пойми:
огонь – это будущий пепел.
Потешные доноры спермы
любили, и были людьми.

Пусть слово уже не утешит,
но всё ещё может согреть
пока в карнавальном кортеже
фальшивит горячая медь.

Уходит под улюлю
подступает срок.
Я халявы не ловлю,
ибо – не игрок.

С точки зренъя игрока,
прелесть – в новизне.
О Гармонии дика
память – ну а мне

сладко верить, что вчера,
в эру мастерства,
Музыка была мудра,
Живопись – жива.

Андрей Недавний /Ставрополь/

Л. Г.

Вернётся всё, причины не ищи.
Скамейка в парке. Дерево у входа
Во двор. Как подростковые прыщи.
И тёплая, как мягкий плед, погода.

Старушка в коридоре у окна
Общаги, что глядится прямо в осень.
Бутылка коктебельского вина.
А, может, всё и не вернётся вовсе.

И станет новой жизни полоса
Напоминанием прошлого, осадком.
Как будто ошалевшая оса,
Увязнув, копошится в чём-то сладком.

Л. Г.

Этот город белых вишен
В мае, во цвету,
Для стихов, как будто свыше,
Дан мне. За версту

Чувствуется в нём основа
Ласки и тоски.
Я влюблюсь в него. И снова
Будем мы близки.

Словно очень-очень долго
В городе я том
Дерево растил и сына,
И построил дом.

Обычно, безусловно и легко, —
Прощается прижизненно, с излишком,
Любовь, зашедшая так далеко,
Что вряд ли кто-то назовёт интрижкой.

Любая скорбь — прощение всему,
С условием, что есть тому награда.
Примерно так Герасим на Муму
Смотрел из лодки.

Так ему и надо.

Алексей Чернец /Новосибирск/

Памяти моей бабки Анны Кротовой

Говорила: что ж, чай поставим —
Рви смородиновых листов.
Говорила: был, сука, Сталин —
Слава Богу, потом издох.

И я слушал, не чуя горя
В том, что были они сродни —
Этот летний закат и говор
Про киношные трудодни.

Про колхозный амбар, про сани
И предательски мягкий снег,
Про соседей, что раз не сдали,
С тем и в память ушли навек.

Я не знал, как припомню позже,
Под каким разгляджу углом
Жизнь, прошедшую бездорожье,
Что на сердце рубцом легло.

Не вести нам корову надо б,
А продать, да попутал чёрт,
Говорила, о каждый надолб
Спотыкаемся, дурачье.

Усмехалась.
Тепло, подолгу
Провожали глаза твои
Апельсинного лета дольку
За селом, на краю земли.

Словно бы я часовой твой калиф —
Хочется долго стоять над рекою,
Аребезг надрывный о нас-не-одних
Бросив ржаветь на последнем приколе.

Помнишь, трамвайчик вовсю налегал
Против течения к пляжному югу,
И, от натуги дрожа, берега
Перемещались в пространстве упругом.

Видишь, как руслом привычным течёт
Время — вовеки, да только не присно.
Словно из той поговорки ключом,
Помнишь, закрыли Октябрьскую пристань.

Нас тоже делали свободными —
Гарантий будущего ноль.
Кому в эпохи переходные
Хотелось участи иной!

* ШВТС, ЦРС - Бийская Школа Восстановления Трудоспособности Слепых (1963-1996); с 1996 по 2002 г. – Бийский Центр Реабилитации Слепых; с 2002 г. – Бийский филиал ЦРС ВОС.

Свободу выносить и вынести —
В душе, душою да вразрез.
Был знак судьбы в замене вывески —
С «ШВТС» на «ЦРС»*.

В тот год шунтировали Ельцина,
И водка — мера всех вещей —
Лилась привольно и невесело,
Но обнадёживающе.

Пока бийчане, взяв по маленькой,
Тоску глушили за тоской,
Валяли мы не ваньку — валенки,
Латали обувь в мастерской.

Потом со злой нерастраченной —
Про разворованный завод;
Что те подонки — то есть зрячие —
Теснят от выгодных работ;

Что нам грядущее отмерили
Кустарным этим ремеслом...
И вот мы, будто на конвейере,
За водкой движемся гуськом.

Гудит окраина заречная,
И мы в общаге втихаря
Долбились в хлам о тьму предвечную,
Себя и время потеряв.

Полустанок — два окошка, посерёдке козырёк,
Наметеленный кокошник скособочено залёт.

На ветру фонарь незряче, от ненастя осовев,
Сизой радужкой маячит разогнавшейся стране.

Электричка, мнится — птица, снегу — рой да рой кротом!
«Посчастливились родиться», — школа пояснит потом.

Знал ли, понял ли — не к спеху! — предвкушением горя,
Что на похороны ехал в середине января

По ночной метельной рези? Вновь гудок, вагонный вздрог.
«Мам, смотри, страшило лезет, нас поймает — и в сугроб!»

Чистый двор, крылечко, сени, в доме — пышущая печь —
Никаких тебе смятений, горы валом с детских плеч.

Ненатоплено и тесно. И прабабки не узнать.
Не запомнил, если честно, мамы материной мать...

Глянул: женщины, мужчины — всех подспудно перечёл,
Ошалелый, но счастливый и без прошлого ешё.

Убрали ёлку — кот поплакал,
Никто не верит в перемены.
Сестра вот-вот умрёт от рака.
Мне не осилить этой темы.

Приснился лифт и тень лифтёра:
Входи, входи, отходим на Хель,
Оставь надежду чужим афёрам,
Смахни смешных отмазок накипь.

Что дети, дескать, подрастают,
Что не успел ешё, не создал,
Что дай сугробы подрастают,
И я не баба, чтобы с возу...

Январским утром — холод окон
И этот мой кошмар минувший,
И словно кто ударил током:
Убрали ёлку и игрушки.

Как хорошо, что гол забил Капризов...
Открыв окно, сметаю снег с карниза.
Быть может, это Гусев гол забил —
Да я забыл?

Вот так бы раз — и ничего не помнить!
Сметённый снег летит на подоконник,
А я машу, как флюгер, помелом.
И поделом,

Что нет конца метельной круговерти:
У вечности за пазухой нет смерти.
Небесный стяг неясен и белёс...
Всё, я замёрз.

Евгения Джэн Баранова /Москва/

Как искренне вдыхает человек
пот тонкорунных, временных акаций,
когда, тридцатилетен, робок, пег,
идёт к прудам водою надышаться.

Когда осознаёт, что он разбит
лебяжьим небом, говором синичьим,
и всё, что он неслышимо хранит,
вторично, одинаково, вторично.

Вот он дрожал, вот обнимаем был,
вот тёр лопатки синим полотенцем.
Всё ждал, и ждал, и жаждал что есть сил
какого-то нездешнего сюжетца.

Какого-то прохладного огня,
какого-то необщего рисунка.
Но не нашёл и вышел, полуульян
от августа, с собакой на прогулку.

Пойдёт ли он за чипсами в «Фасоль»?
возьмёт ли овощей (морковь, горошек)?
Он чувствует, что вымыщен и зол,
но ничего почувствовать не может.

Как искренне не жалко никого.
Купить ли замороженную клюкву?
Идёт домой простое существо,
бестрепетно привязанное к буквам.

ХВОЯ

Я вот всё думаю: сосны ли солнце казнят?
кровь или краска дрожит на зелёных заборах?
Матушка-хвоя, возьми моё тело назад,
плечи укутай в коричневый шелест и шорох.

Эллином дивным воспрянь над моей пустотой,
слизывай глину с ногтей одичавших пожарищ...
Кем бы ты ни был, деревья придут за тобой.
Что, кроме плоти, ты нежному лесу подаришь?

Бронза и уксус, художники и корабли...
все исчезают, хотя заслужили иное.
Я вот всё думаю — долго ли, коротко ли.
Не отвечает медовая матушка-хвоя.

ВОЗДУХ

Одуванчик зрит чудесное:
нос шершавого щенка.
Поперхнусь, вернусь, исчезну ли
неизвестно лишь пока.
Над прудами ветер бесится.
— Видел утку? фью да фьют!
Одуванчик просит: «Месяц, а?
Дал бы небо поносить?

Или облако?! Я маленький.
Как ничтожному прожить.
Ни крыльца, ни умывальника –
не до жириу через «жи».
Месяц пьёт и пьёт без просыха,
не ответит малышне.
Одуванчик равен воздуху,
раме, маме, Миле, мне.

БОЛЬНИЦА

И куда подевался халат?
Столько страсти таит шоколад,
когда ешь его в чистой палате.
От уколов язык суховат,
время стелет кроссвордами ад.
Никакого ротфронта не хватит.

Минералкою бредит стакан.
В коридоре шумит океан.
Простынь пахнет мукой и бульоном.
Если долго смотреть в потолок,
то увидишь весны локоток
в виде тени, в окне преломлённой.

Может, завтра отпустят домой.
Может, горе утихнет само.
Может, ноги найдут подоконник.
И когда – полуслаб, полусед –
за стеной завершается дед,
ты стараешься сладкое вспомнить.

МОРСКАЯ ФИГУРА

Сонечка вышла за Колю-слесаря.
Хоть и еврей, говорит — болгарин.
А у Натальи Фалесовны —
сына арестовали.

Чего арестовывать, воет Наталья.
Он коммунист, у него медали.

Жили как жили, в общем-то не игристо.
Сняли колечко — купили риса.

Никакой он, граждане, не кулак.
За что его — так?

Граждане молча слушают.
Врёт она всё, заслуживает.
Маслят Наталью оливками глаз.
Море волнуется.
Раз.

ВИНОГРАД

вот мы стоим на каменном мосту
солёной виноградиной во рту
куда ни глядь чернильная водица

на волосах краситель а в ногах
мешается мускатное и страх
и некому с дежурства возвратиться

здесь столько места столько ерунды
мы можем заговаривать цветы
касаться тела обнимать заборчик

язык прохладен разум пустоват
и кажется приносит виноград
спокойный древнегреческий уборщик

здесь можно бывших жен упоминать
считать веснушки кожу омывать
и можно над водой играть в гляделки

а если кто-то в воду упадёт
то ничего то смерть его найдёт
она идет она уже несёт
домашнее печенье на тарелке

Андрей Санников /Екатеринбург/

ИЗ «ЗЫРЯНСКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ»

В августе незрячем и невзрачном
на бомбардировщике прозрачном
двойники и даже тройники
отвезут меня в Березники.

Приземлимся при дожде и громе
на заброшенном аэродроме
в полвторого ночи и пойдём
к яме, где когда-то был мой дом.

На проспекте Веры Бирюковой
встанем мы, построившись подковой
и достанем ржавые ТТ.
Ливень всё сильнее и т. д.

Кашляем, на подбородках — сажа.
Вот и искажения пейзажа —
реки приседают и встают,
горы, как прохожие, снуют.

Нас, как будто в тамбуре, болтает,
дождь то вниз идёт, то зависает.
Яма то зевает, то вопит,
то шипит, как будто в ней карбид.

Вот теперь-то всё должно случиться —
шансов нет, но может получиться.
Ржавчина стекает из руки.
Шёлкнули железные курки.

Мы стреляем, что есть силы, в яму.
Пауза на длинную рекламу.
А потом всё хорошо — зима,
дом в снегу на склоне у холма.

внутри несытных рябоватых рек
чего-то ищет смотрит человек
рукав засучит сунет руку в реку
и кто-то пальцы тронет человеку

и из воды пойдя кругами вдруг
потянутся к нему десятки рук
стесняющихся тёплых и печальных
на каждом пальце в кольцах обручальных

лицо им подставляет человек
смеётся плачет говорит про снег
горит костёр на низком берегу
начнётся снег костёр горит в снегу

I.

Когда уже и жизнЬ погасла
и наступила темнота —
куски светящегося масла
вываливались изо рта.

Когда и вечность перестала
и пылью сделались грехи —
остался привкус от металла,
похожий на мои стихи.

II.

С деревянной веткой в руке
он сидит на крыше один.
Слеп с рождения. А вдалеке
проплывают несколько льдин.

Открывает рот — изо рта
свет идёт, как из маяка.
Закрывает рот — темнота
наступает. Только река
светится зелёным слегка.

Отсохла половина сердца.
Спокойно смотрит человек,
как из его ладоней кверху
идёт холодный мелкий снег.

Вокруг него стоят собаки.
Вокруг собак стоят дома.
Вокруг домов стоит ограда.
А за оградой — смерть сама.

Из бедной проволоки ток
перетекает в эту лампу —
и видит белый потолок,
и возвращается обратно,

и говорит в стене другим,
живущим в проводе созданьям,
что умер, что лежал нагим,
что был в каких-то длинных зданьях,

что больше нечего хотеть,
что горе состоит из света,
что нужно только потерпеть
в убогой проволоке этой.

Елена Лапшина /Москва/

Сломанными флагжками сверху сигналит птица.
Кто её разумеет? — нет никого окрест.
Только над прудом ива — будто пришла топиться.
Ива стоит и плачет, чёрную землю ест.

Бездна небес глядится в тёмный нагрудник пруда,
видя в нём только птицу, рваный её полёт.
Небо само не может жить ожиданьем чуда.
Ива стоит и плачет, чёрную воду пьёт.

Что у неё за горе? Кто её здесь оставил?
Но прибежит купаться — выгнется и вперёд! —
тонкий и голенастый, с виду как будто Авель.
Ива ему смеётся, — кто её разберёт.

Я видела — в лугах его, далече, —
как, обгорев, но ран не замечая,
он бродит, пряча розовые плечи
среди густых метёлок иван-чая.

И я слыхала — смертная, мирская, —
как на чужом наречье незнакомом
он пел, тяжёлых век не размыкая,
кому не знаю: птицам, насекомым...

И мне казалось, будто в этом теле
ему легко среди травы и зноя...
И облака всё посолонь летели
кибиточками в Царство неземное,

уже звала не Волга, но – Валгалла,
и отцветало пёстрое, простое...
И я жила, пока ещё мелькала
его спина в зелёном травостое.

Сколько ни славословь
пламя того куста, –
это ли – не любовь,
это ль – не красота?

Здешняя, злая вся –
ангельским бьёт крылом,
на волосах вися,
словно Авессалом,

смутной своей тоской
смертному отслужив.
Но в красоте плотской
замысел Божий жив.

Чтобы Высокий Глас
не угасал в кусте,
плачу о смертных нас,
плачу – по красоте!

В мире дерев и трав,
вторящих небесам,
голову потеряв,
плачу по волосам.

Тупая усталость, предсмертная дрожь, –
как будто по снежному полю идёшь.
Как старая Герда – любовь во плоти –
застыла, забылась и сбилась с пути.
И меркнет рассудок, и сумрак – вокруг,
и дремлет под снегом ненайденный друг.
Забвенье, затишье, и дело – к утру,
сухие былинки звенят на ветру.
И слышно, как в норах – во мраке парном –
полёвки хрустят припасённым зерном.
И манит подземный мышиный уют.
Но белые волки призывно поют...
И кто-то по следу – из далей иных –
уже подъезжает в санях ледяных.

От земли поднимутся холода,
незаметно с ночи повалит снег.
Ты увидишь небо из-подо льда,
ты проснёшься рыбою, человек.

Неусыпным оком гляди во тьму,
серебристым телом — плыви, плыви...
И не думай: Это зачем Ему? —
всё, что Он ни делает — от любви.

Не ропщи, что речь твоя отнята,
не по небу ходишь, не по земли.
Если рыбе дадена — немота, —
то самим дыханьем Его хвали.

Евгений Степанов /Москва/

ПАВЕЛЕЦКАЯ

добрый день а не чава-какава
жизнь моя и светла и грешна
Павелецкая рыжая пава
и шалава вокзального дна

Павелецкая отрок советский
ставший быстро седым стариком
и летающий замоскворецкий
красный дом

слышу колокол благоговея
и надеюсь на добрую весть
несть ни эллина ни иудея
Павелецкая – есть

КИШИНЕУ

стихами музыкой вином
кишмя кишащий Кишинеу
он мне знаком и не знаком
он узнаваемый и неу-

знаваемый родной и за-
граничный – зычный – лимба леи
по дому тянется лоза
глаза становятся теплее

я счастлив жить влюблаться чу-
вствовать — открыты настежь двери
души и совершенно не хочу
я говорить ла реведере

СПАСИ И СОХРАНИ

Выжить бы в этой стуже —
Ужас — почти незряч.
Лучше не будет — хуже
Будет — поплачь, поплачь.

Хуже не будет — будет
Все хорошо — не плачь.
Может быть, Он осудит,
Но все же даст калач.

Пыл дуракам остынет,
Гладя по волосам.
Он никого не осудит.
Только поплачет Сам.

Наталия Осташева /Москва/

Ночь длинна,
В эфире тишина,
Падают старушки из окна.
Все они не пойманы — не воры,
Только я прекрасная одна.

Спи спокойно, мокрая страна,
Шорохом дождя окружена
Все твои пустые разговоры —
Тоже небольшая глубина

Будет в огороде бузина
Или на подушках ордена —
Разные находятся глаголы,
Но примерно эти времена.

Мой старый друг — с которым пьем арак
На берегу изменчивого моря,
О чем угодно говорим и спорим.
Мой новый друг — с которым в разговоре
Слова не подбираются никак:
Чуть что — и всё, я в домике, чик-трак.

Такая драма, в сущности, прикинь:
Ты можешь останавливать моменты,
Брать города, срывать аплодисменты
И обращать любого в ассистенты
Одним кивком, движением руки,
А тут — молчишь, и как-то не смешно.

В твое окно влетает птица-гриф —
Метафорой, быть может, или просто.
Не наливай, пока не знаешь тоста.
Восходит месяц маленького роста,
Как будто переходит на тариф,
Где все молчат, уже отговорив.

Гори-гори, как правая щека,
На перепутьях Азии широкой,
Где мчится ветер с юга и востока,
И нет паролей жаждущим анлокам,

И нет границ внутри материка.
Подумать только — не было границ.

Так много лиц, что света не видать,
Но ищут, никого не беспокоя,
И тихо так, и, в общем-то — такое.
И нужно, чтоб оставили в покое,
Когда приходит время побеждать.
Так долго ждут, что могут подождать.

Ты приходи ко мне, заходи в окно.

Я даже не знаю...

Ты же всегда только так умел.

У меня тут всего полно:

мармелад, мороженое, карамель.

Чайник в который раз только что вскипел,
через восемь минут снова начнет вскипать.

Допустим, жду тебя в пять.

Вот уже три недели жду тебя в пять,
пора уже привыкать.

Приходи, например, когда

я уже лягу спать.

Не дожидайся утра, завтра будет среда,
просто скажи, что был.

Там, за окном, кто-то другой, не ты, снеговика слепил.

На столе мармелад, в окне отраженье плиты,
искры чужих петард падают прямо в снег,

падают в темноту прямо из темноты.

Нет, жду тебя в шесть.

Вот уже много лет жду тебя в шесть.

Не начинаю есть

и забываю спать.

Если ты есть, не приходи опять.

Не уходи опять, не приходи опять.

Я даже не знаю...

Ты же всегда умел запутать меня.

Нет, ну не всю же ночь мне тут у окна стоять.

Ты приходи в четверг, где-то в начале дня,
чтобы наверняка.

Не говори, в какой.
Не усложняй пока.

уленшпигель, уленшпигель,
где твоя скороговорка?
не подделываешь смыслы,
не жонглируешь словами

над серебряным проспектом
под светилами любыми
у случайных домофонов
назывался кем попало

ты как тот веселый ветер,
что с ноги заходит в двери,
и ненужные вопросы
повторяет в свете лампы

уходи, пока есть время,
убегай, пока есть силы,
ты замучил всех соседей
сквозняками, сквозняками

...и на крем-брюле роняя
слезы жгучие большие,
отвечает тихий мальчик
с белой в клеточку тетрадью

дышишт в круглое окошко
непонятными словами,
пишет в жалобную книгу
ровным почерком воздушным

занавешивает время
непрозрачной занавеской,
отмечает у охраны
что ушёл в двенадцать сорок

и действительно уходит
шаг за шагом, шаг за шагом,
и, как тихая старушка,
причитает, причитает

Когда еще расскажут нам о нас,
где только снег идет девятый час,
где от былых берез чернеют пятна.
Так бледен мир, что оторопь берёт,
и каждый след, как «нет» наоборот,
желает затянуть тебя обратно.

Где хоровод – опасная игра,
и строчками не крепятся в тетрадь
слова простые, что зима постила –
просила их запомнить, повторить,
пока окно над городом горит,
и темнота тебя не захватила.

Кого предупреждали, те молчат,
но клавиши предательски стучат
в густом пространстве комнаты беззвучной:
не доверять, не открывать Фейсбук,
капсочный спам, полночный Петербург,
законы тишины благополучной.

И вот мы здесь, на глубине греха,
лишь головы над белизной стиха
и контуры другого континента.
А ты все шлешь под видом платежа,
что будем в этой комнате лежать,
что вот любовь — надежная легенда —
представлена в детальных чертежах.

Ещё говорят, в океане снег
не тает, а так лежит.
Мне нравится один человек,
но мне не принадлежит.

И можно стоять и махать платком,
И даже сидеть спиной,
Никто не узнает, о чём, о ком,
Не свяжет его со мной.

И снова не солнце, а так, туман,
В котором и свет — не свет,
И за горизонтом растут дома,
А до горизонта — нет.

И если не думаешь ни о чём,
Вообще ни о чём таком,
То ляжет туман на твоё плечо,
И скажет идти пешком.

И лёд под ногами, и так, трава,
И странных машин следы,
И не выговаривают слова
Нерыбы не из воды.

И много дорог, но на деле — две,
И жизнь распознал шазам,
И ты открываешь за дверью дверь,
И веришь своим глазам.

И солнце прекрасно, и ночью мрак,
И утки плывут на юг,
И, кажется, будет и так и сяк,
Покуда припев поют.

И мне говорят: всё пройдёт, ходи,
И будет всё хорошо.
Но нравится мне человек один,
И он только что прошёл.

Катя Капович /Бостон/

Виталию Пуханову

Дай вспомнить всё: и в лаке пальчики,
и сладкие конфеты «белочка»,
и, словно белые воланчики,
летают над паркетом девочки.

Скользим в мальчишеских объятиях
под розовую цветомузыку,
потом на грубых предприятиях
с плохой свистящею акустикой.

Как мы устали и состарились,
как разлюбились и расстроились,
как наша музыка расплавилась,
порасплескалась, рассусолилась.

Корми, о, жизнь, нас шоколадками,
танцуй нас вновь ночных танцами
под белы руки вверх лопатками,
мы разве вспомним гравитацию?

Неразделенная любовь,
счастливее ты раздeленной,
ты строишь город городов —
абсиды, арки и колонны.

В нем солнце, воздух и вода
на вкус и цвет совсем другие
катает акведук моста
такие облака живые.

Под солнце черепичных крыш,
под музыку вокзальных клавиш
там на перроне ты стоишь
и тихо варежку кусаешь.

Станислав Ливинский /Ставрополь/

Загремит автобус дачный,
дверь откроет на ходу...
Тонкокожи и прозрачны
головастики в пруду.

Но ни капли не похожи
на лягушек, что в саду.
По ночам приходит ёжик
кушать кошку еду.

Кошка, словно недотрога,
наблюдает свысока,
испугав ежа немного
и сама струхнув слегка.

На рассвете барабанит
дятел, светится роса.
Утром плавает в стакане
полумёртвая оса.

На останках колокольни
стая траурных ворон.
И плетётся в школу школьник,
свой досматривая сон.

Надели ветхие одея́ды,
ведём себя́, как полубоги,
как будто снова умер Брежнев
и отменили все уроки.

Кругом приспущеные флаги
и траур в византийском стиле.
И в каждом шепчутся бараке,
что гроб имперский уронили.

И пожилая историчка
рыдаёт, словно истеричка,
ничем нельзя её унять.
И мне не суждено понять –
где тут любовь, а где привычка.

Какой, вообще, сегодня год!
зачем я здесь! кто виноват!..
Холодный прошибает пот,
как много лет тому назад.

Когда мешался под ногами,
ходил под окнами кругами
и жил себе, не дуя в ус,
влюблённый по уши в соседку,
дождинки слизывая с ветки,
чтоб их распробовать на вкус.

О! это пышное начало!
Страна, что в тряпочку молчала,
и безразличной смерти нрав.
И та, что в губы целовала
меня, на щечки привстав.

Вот так и живут, и дают имена
и детям, и маленькой речке.
И смотрят подолгу на всё из окна
и курят в трусах на крылечке.

Кивают на осень, её письмена,
повадки и мордочку лисью.
А ночью такая вокруг тишина,
что слышно, как падают листья.

Каштан ударяется о козырёк
и кошка мяукает где-то.
И бьётся о лампу ночной мотылёк,
прельщённый безжизненным светом.

Выходишь вон – ещё стоят
на свалке брошенные ёлки.
Их беспокойный странный взгляд
и послепраздничный наряд.
Собаки год, по мне – так волка.

А во дворе своя игра,
там дегустируют настойку.
Люблю такие вечера,
когда искрятся новостройки,
потрескивают провода
над частным домиком с трубою.
И одинокая звезда
вдруг говорит сама с собою.

Служил творцу-единорогу
и семерых царей видал.
О счастье пел, но, слава Богу,
тебе не переприсягал.

Держава или не держава,
страна, жена, больная мать.
Когда высасываешь право
любить и втайне проклинать.

Впадать, как сумасшедший, в детство.
Менять на бабки страшный дар.
В кривое зеркальце смотреться.
И перечитывать «Анчар».

Судьба, судьбе, судьбы – и лепиши кружева,
и виснешь, как дурак, на микрофонной стойке.
Не вспоминай при мне погибшие слова,
не трогай у судьбы крутилки и настройки.

Огромная страна уснула на спине:
лежит с открытым ртом. В камине треск паркетин.
Да что ж так полысел и дырочку в ремне
проделал новую себе к сорокалетью.

Про лебеду загни, про сор и лопухи
и приплети ещё какой-нибудь прополис.
Я помню, что читал (не помню чьи) стихи,
я тараторил их, как проходящий поезд.

Но срезался, сошёл. Ищи-свищи финал.
Сам типа разлюбил, зато ушёл красиво.
Я на одной струне «Кузнечика» играл.
Из банок с кем-то пил разбавленное пиво.

Я делал узелок на кончике строки
и смешивал вино с лосьоном огуречным.
Прощайте, холода, ментовские ларьки.
Буди меня, буди, кондуктор, на конечной.

Ни безумных, ни светлых идей,
ни бессмысленных песен о чуде.
Чем торжественней бюсты вождей,
тем обшарпанней зданья и люди.

На Дзержинского высится храм,
а на Храмовой — стела чекистам,
где вольготно живётся ворам,
попрошайкам и хитрым таксистам.

А ещё полигон и река,
воды сточные в ней лицемерны.
И куда-то бегут облака
безразличные, словно цистерны.

Ибо сказочный этот народ,
чтоб учиться, учиться, учиться.
Ибо всё — и вокзал, и завод —
здесь построили пленные фрицы.

Когда никто не любит нас,
когда, прищурив третий глаз,
с утра озлоблен, как собака
а время песенки поёт,
и снег за окнами идёт
такой же, как у Пастернака.

Я сам с собою говорю.
Я так тебя благодарю
за жизнь, разыгранную в лицах,
за то, что снова будет свет,
за интригующий сюжет
и бесполезные вещицы.

За двор, покрытый серебром,
и бабу с мусорным ведром.
За то, что есть немного денег.
За эту улицу во льду,
за то, что я по ней иду
довольный, как электровеник.

За хлеб и плавленый сырок.
За то, что ты не очень строг,
назад не требуешь билета.
За эти ёлочки в снегу.
За то, что запросто могу
благодарить тебя за это.

Андрей Болдырев /Курск/

Как белымя у города на глазу
старый дом стоит на юру.
Я воды из колонки домой принесу,
будет мама купать сестру.

Я большой совсем в сапогах отца,
на затылок ушанка сползла.
А собака соседская из-за угла
и рычит, и бросается.

Плачь — не плачь — иди за водой давай.
Нет к колонке другого пути.
Мама станет ругаться: ты где ходил? —
Хоть за смертью тебя посытай.

А собака лохмата была и зла,
но куда-то пропала потом.
Я за смертью ходил, я глядел ей в глаза,
мальчик-с-пальчик с пустым ведром.

Край родной — ломоть отрезанный,
ставший горла поперёк.
Будет мама в день отъезда
подносить к глазам платок.

Мне останется лишь средство
связи с тем, к чему привык:
утварь кухонная, книг
стопка — вот и всё наследство.

Комната стоит без мебели —
Жили-были — словно не были.

Наметает южный ветер
снега в аэропорту.
Серебристый ангел смерти
набирает высоту.

На прощание соврёшь: там
с вами встретимся потом —
и идёшь по хлебным крошкам
в занесённый снегом дом.

В гостинице «Центральной», на третьем этаже,
уже порядком пьяный, с досадой на душе,
поэт Вадим Корнеев, что искренность любил
в стихах, мне про евреев и русских говорил —

и дым тянулся плоский болгарских сигарет.
Он говорил, что Бродский — посредственный поэт.
Он говорил, искусно при этом матерясь,
что мы с культурой русской утрачиваем связь;

и, по столу вдруг стукнув могучею рукой,
гримел как репродуктор, а за его спиной
две вырастали тени архангелов-певцов:
соломенный Есенин, берёзовый Рубцов.

И мы сидели, словно Давид и Голиаф.
И знал я, безусловно, что он, сильнейший, прав.
От тёплой водки с перцем стоял в буфете гам,
а в голове вертелся извечный Мандельштам.

Я проснусь оттого, что мне ночью звонят,
в трубку хрюкают, воют, мяучат, рычат.

— Заходи как-нибудь, — говорят мне, — в лото
да в картишки сыграешь с нами,
коньяку дорогого попили б, а то
что ты маешься целыми днями.

— Заходи, — говорят, — мы накрыли на стол,
зеркала занавесили, вымыли пол,
перемыли тебе все кости:
ждём тебя, дорогого гостя.

— Обязательно, — я отвечаю, — зайду.
Может — в следующем, может — в этом году.

А потом с боку на бок всю ночь напролёт
я кручусь: жизнь верёвочку вьёт.

В ПАРКЕ ИМ. ПЕРВОГО МАЯ

Небес на сумеречном фоне –
как будто много лет назад –
закрытые аттракционы
печально на ветру скрипят.
Февральский зажигает вечер
сырой фонарь над головой.
Снежинки кружатся навстречу –
и я один иду домой
вдоль облупившихся фасадов,
в ночную темень вперив взор,
а за чугунною оградой
белеет Знаменский собор.
Выходят люди из собора,
где раньше был кинотеатр
«Октябрь». Когда умолкнут хоры
и ангелы уснут, хотя б
на час побыть опять ребёнком
и вместе со своим отцом
прийти сюда смотреть «Кинг-Конга»...
...Вот оборвалась киноплёнка,
а мы ещё чего-то ждём.

ПОСЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ

Пустая тара, пачка сигарет
на подоконнике. Окно во двор детсада.
Вот Ходасевич – да, а Слуцкий – нет,
не интересен никому. Досадно.

Читали наизусть, поддав слегка.
Вот Слуцкий – нет, а вот Поплавский – кстати.
...А в небе плыли, плыли облака,
как лошади, рыжек на закате.

А то купили б сладкого вина,
позвали бы девчонок, всё такое...
Бог с ней, с поэзией. Но если б не она,
когда ешё так собирались бы трое?

Екатерина Полянская /Санкт-Петербург/

ЕЛАГИН ОСТРОВ

На ботиночках шнуровка
Высока, остры коньки.
День — что яркая обновка,
И румяная торговка
Прославляет пирожки.

Вензелей переплетенье,
Жаркий пот, скользящий бег...
И — дворцовые ступени,
Льзов чугунное терпенье,
В чёрных гривах — белый снег.

Всё расплывчатей и шире
Круг от прожитого дня.
На часах всё ниже гири,
Может быть, и правда — в мире
Нет и не было меня?

Только лёд прозрачно-ломкий,
Только взмахи детских рук,
Ивы у прибрежной кромки,
Звон коньков, да сердца громкий,
Заполошно-частый стук.

*...так ведь меня могут спутать с теми,
кто пишет о розах и бабочках...
высказывание в сети*

Да, я буду писать о бабочках и цветах
Всем смертям и войнам назло – обязательно буду,
Потому что мне не пройти через боль и страх,
Если не пронесу их в себе повсюду.

Да, я буду писать о них, потому что они – хрупки,
Потому, что их мужество многое больше, чем наше...
Лёгкие крыльышки, тонкие лепестки –
Целый мир, что мудрее людей и старше.

Буду писать, потому что без нас без всех
Жизнь обойдётся, а вот без них – едва ли.
Попросту треснут, расколются, как орех
Планы, амбиции, прочие «травли-вали».

Потому, что когда не станет «своих» и «чужих»,
И сквозь горький стыд и недоуменье
Мы возвратимся, то снова увидим их.
И разглядим вечность внутри мгновенья.

Татьяна Литвинова /Северодонецк/

Мыла маму на узком диване.
На kleenке – родимая плоть
Так тиха, что почти бездыханна.
Что ты знаешь об этом, Господь?
...Свет над мамой стоит скопидомный.
И суббота прошла, и среда.
Растекается мыльной водою
Десять месяцев в доме беда.
Шарят в воздухе, просят спасенья
Эти руки – уже не жильцы.
Все окутано смертною сенью –
Полотенца, таблетки, шприцы.
Не достать мою маму оттуда,
Где беспамятством путь занесен,
Ни врачебным, ни божеским чудом –
Там лишь тьма, забытье, сибазон.
...Но когда ты меня узнавала
И когда мою руку брала,
Смертной сени дрожащее жало
На шажок отступало с утра.
«Ждать осталось недолго», – сказала
Приходящая к нам медсестра.

.....

«...И сумку подготовь для морга,
Чтоб после быстро все успеть».
...У всех старух такая торба

Лежит, укромная, на смерть.
Чулки, и платье, и сорочку
Сложила в мамин шифоньер,
И принт молитвы на листочек,
И туфли — больше на размер.
Все понималось очень смутно
В том неотмоленном году.
...Носи матерчатые туфли —
Они не давят на ходу.

.....

Тот день пришел в нехитром снаряжение —
Переодеть, подушки подоткнуть,
Зеленкой смазать ссадинку на шее,
Термометра стряхнуть тугую ртуть.
...Еще не стерто пятнышко зеленки
Над сонною артерией пустой.
Пересекает махаон залетный
Молитву «Со святыми упокой».
Стою над домовиной с младшим братом
И все на это пятнышко смотрю,
Мерцающее в точке невозврата
Как жизнь сама сквозь лета литию.

За двором спорыши-молочай
Да неслышные детства шаги.
Тайну счастья и тайну печали
Береги:
Все знаменья, все тихие знаки
В той свободе твоей-слободе.
Пусть уже не дойдешь до Итаки,

Но Итака повсюду в тебе.
Светотени ее и рефрены –
Двор полуденным солнцем согрет,
Локти клена над столиком древним
Все прозрачней за складками лет.
Тает с флоксами глиняный глечик
На окне до пронзительных ѿт.
Только облако ссылкой на встречу
Над родительским летом плывет.

Это детство, это снег,
Мандариновые шкурки,
И цигейки мягкий мех,
И на валенках снегурки.
День последний декабря.
Санок блесткие полозья.
Холм за домом что гора.
Щеки в цвет парнасской розы.
Старый клуб, сугробный сквер,
Леденистое крылечко,
И зачитанный Жюль Верн
У еще горячей печки.
Мама с папой, младший брат,
Пирожков не счасть в духовке,
Оливье и лимонад
На мережковой скатерке.
Пахнет хвоей, и царят
Сто шаров наизготовку,
Звезд, фонариков, гирлянд.
...И стеклянный космонавт
Улыбается на елке.

Это детство, прошлый век –
Не унять, не убаюкать.
Я гляжу на первый снег.
Мандарины чищу внуку.

Как быстро сыграли в ящик,
Не сношенные почти,
Нейлоновые рубашки,
Болоньевые плащи.
В глубинах какого Стиksa
Давно отбывают срок
Дошкольного платья ситчик,
Непрочный капрон чулок,
И батники из кримплена,
И клеши моей мечты –
Затерянной ойкумены
Матерчатые понты:
Щемящи твои палитры,
Повытерся твой аршин
Меж пальцев протек портнихи
Засвеченный крепдешин.
Лиши памяти фотовспышка
Вдруг выхватит невзначай
Немногие наши фишки
И многую в них печаль.

Оля Скорлупкина /Санкт-Петербург/

ХРУСТАЛЬ НА ПОЛОВИНУ ХРУСТ ДАЧНОЕ

Здесь древнее море лежало ничком,
А после с размаху гасили сачком
Глазастой крапивницы всполох,
Почти забывая про школу.

Здесь враг чёрно-белый ходил ходуном,
А после терялся кусок домино,
И что-то сажали в потёмки
Земли с нитью леса по кромке.

— Здесь тоже хоронят? Бабуля, смотри,
Я вижу деревья с крестами внутри,
Карьера и станции возле.
А что совершается после?
А что за название «Знамя труда»?
Оттуда их тоже привозят сюда?

Рванулся подол на перроне:
«Хоронят, хоронят, хоронят».

...Раздавленных бабочек пёстрый отряд,
В груди разорвавшийся древний снаряд.
Придвинулись тени лесные:
Поверхностные, полостные.

Моё пусто-пусто пустило росток
Из бледных подземных каких-нибудь строк.

(Один отсыхает эпитет.
Простите, простите, простите.)

И кто мне расскажет теперь про войну?

Карьер пересох, и по самому дну
К противоположному краю...

А после
Слова выгорают.

Оцепенев
В приёмном покое
(что ж это делается такое?),
Ждёшь своей участи, весь искомкан
Пальцами тишины.

И, оценив состоянья тяжесть,
Определяют, куда ты ляжешь,
Делают больно, светло и громко,
Делают, что должны.

Быстрые острые блики игл.
Если отхлынут — читаешь книгу,
Если везучий, возможно, койка
Выпадет у окна,

Где, наблюдая полотнищ тёмных
Хлопанье в небе (очнись, опомнись!),
Будешь утянут стихией горькой
За волнорезы сна.

И, кроме боли и порученья
Обрисовать её светотени,
Вряд ли ещё что-нибудь стрясётся,
Сгрудится полутьма.

Впрочем, бывает, что соположат
С неким привязанным, и по коже
От его криков мороз и солнце —
Мёртвое, сквозь туман.

Сердце, слежавшееся в гербарий,
Между страницами кротко шарит:
Что-то завещано вроде встречи,
Кто-нибудь навестит —

В сумерки лифта сомкнёт, похитит,
Узел с комком надорванных литер
На окрылённые вскинет плечи,
Чтобы встряхнулись в стих.

Ринемся вверх и вольёмся в парус
Ветхого неба. Мне показалось,
Или всё рушится в самом деле
В самом низу, смотри!

Крошится мир, налетают птицы
(Всё это, в общем, не про больницу),
Боже мой, вот и прошла неделя,
Что теперь говорить?

ПО ПРОСЬБАМ НЕ ТРУДЯЩИХСЯ

По просьбам не трудящихся, а так –
Выпускников, пропитанных рассветом,

Бутылку проносящей мимо рта
Бездомной тени земляного цвета,

Младенцев, не умеющих слова
Пока сложить из режущихся звуков,

По просьбам тех, чья утром голова
С похмелья как тупой болящий угол,

И тех, кто на работу не пошёл
И курит, распечатав письма окон

(читая залпом в них, как хорошо
и как весенний воздух клином вогнан),

И дураков, что шлялись ночь насквозь,
Гrimасничая от заветной тайны,

И тех, кто опоздал в гудящий сквот,
Заночевав у светлых и случайных,

По просьбам потерявшимся во сне
И городом проглоченных с бумажкой,

Внезапно оказавшихся вовне,
Где пусто, нескончаемо и страшно,

И тех, кто, свесив голову, присел
Там на поребрик или огражденье,

И мальчика, больного насовсем
Янтарным неземным оцепененьем,

И старика, впадавшего туда,
Где чёрный шторм размётывает сходни,

По просьбам всех, кто тяжесть и беда
И, в целом, наказание Господне, —

Вставало солнце.

КРЫША

Там, где заканчивался дом,
В сиявший пустотой проём
Горячим чёрным лепестком
Влетела крыша.
Наш молодой и пёстрый сброд
Сорвал печать, ушиб ребро,
И выразился серебром,
И взял и вышел.

Летело небо мимо нас,
Катилась кубарем весна,
Воркуя, лился лимонад
В настойку с перцем...
Спешили к краешку слова,
Ходила кругом голова,
И в сердце пламенный провал —
В огромном сердце.

Всё витражами застеклил
Закат, не трогавший земли,
И то, что надорвать могли,
Мы надорвали.
Я, свесив кеды, на краю –
Нагретом облаке в раю –
Но вот шумят, грозят, снуют,
Ребята, валим.

И мы свалились и летим,
Не раскрывается наш стих,
Лишь неисправно шелестит
Он, весь запутан...
А до земли подать рукой,
Во рту катая языком
Молчанья золочёный ком –
Таблетку будто.

ПАСХАЛЬНОЕ

Теплится верхний мир,
Свет пропускают ставни.
Господи, всё отними,
Только себя оставь мне.

У твоего окна
Птицей пою невзрачной,
Крошки пытаясь догнать,
Лапками всё испачкать.

Щебет мой о силках,
Клёкот мой весь о клетках,
И удаётся втолкать
Слово про небо редко.

Впрочем, о нём и так
Ты знаешь всё до края.
Чёрной земли немота
К солнышку пригорает.

*Сноска под звёздочкой:
Бьюсь об углы на звёздах.
Больно и высоко
Тем, кто взвиваться создан.

Встретимся мы живьём.
Сквозь облака и сны я
Огненным воробьём
В двери Твои резные.

На самом солнечном и звонком деле,
Как это ясно знает детвора,
Он выдумал высокие качели,
Чтобы макушки чиркали о рай.

Заветным и неуловимым завтра,
До слёз, до боли, до конца смеясь,
Я вырасту и стану космонавтом.
Воздухоплавателем буду я.

Протягивайте мокрые билеты,
Целуй ладонь, бетонная плита...

На все четыре буквы в слове «лето»,
На все четыре стороны взлетать.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

Опять виднеется пора
Смешного слова «мишурा»,
Распахнутых чернильных льдин,
Рассветов поздних.

Стакан наполовину пуст,
Хрусталь наполовину хруст.
Кто Новый год встречал один,
Тот понял всё здесь.

И мне представилось вот так
Смотреть, как льётся темнота
На стык полуночи, снегов,
Площадки детской...

Довольно больно и смешно.
Гирляндами саднит окно,
И некого, и никого,
И выпить не с кем.

Кому курантов складный бой,
Кому невыразимый вой
Волков среди флагков, среди
Чужих салютов.

Наполовину из дымка
От фейерверков облака.
Я прижимаю их к груди,
Где холод
Лютый.

ОСТРАНЕНИЕ

А перед сном притаскивают мне
Дырявой памяти худые сети,
Как в школе музыкальный кабинет
Располагался в бывшем туалете.

На входе вместо раковин скрипел
Огромный, нотным жемчугом набитый
Сервант. Во всей повешенной толпе
Мне нравился Бетховен композитор.

Туда, где унитазам трём стоять
Предписывал характер помещения,
Вписались фортепьяно, стул и я,
Барахтаясь на странной этой сцене.

Учительница лилией цвела
В оставшемся пространстве санузла
И колыхалась волнами в дремоте,
Приоткрывая глаз на скверной ноте.

Отпущенное время истекло,
Но музыки полно не что иное:
Окно закрашено, белым-бело,
И мой сурок со мною.

ХОРОШО

Прописали перед сном
Порошок,
Только надо размешать
Хорошо
В ледяной воде у самой
Земли.
Это я о том, как снег
Повалил.

На ночь глядя, хладнокровную ночь,
Подо льдом которой слишком темно,
А поверх уже сияет вовсю —
чёрно-белый получается сюр.

Значит, точно поскользнусь, как пойду.
«Значит, я и оказался в аду».

Если хочешь досмотреть, то кивни,
И герой сбегает капелькой вниз,
Ядовитой, резкой, как аммиак.

И качелей сваи буквами А

Всё чернеют, из проталин растя.
Снег покачивают, словно дитя.

...Взвизгнули во весь опор лигатур:
«Что возьмёшь с собой в дорогу, Артюр?»

Хорошо, что всё теперь
Как у всех.
Хорошо, что суицид —
Это грех.

Рассветает: это тот
Свет.
Хорошо так, что и слов
Нет.

Автоном Доветров /Черноголовка/

ДВОЕ В КОМНАТЕ

Небо становится ближе с каждым днём.

Борис Гребенщиков

Из отдушины – таракан.
Видно, небо становится ближе.

У меня на столе стакан,
на балконе пылятся лыжи.
Прадед мой погиб на войне,
я же пью в некультурном виде.
Таракан
сегодня
ко мне!
Он эпоху вулканов видел.

Ходят музы к друзьям моим,
дотемна сидят за арбузом.
Никогда не завидовал им:
ни друзьям, ни тем более музам.

Дом мой, как и желудок, пуст.
Но не холодно и не жарко.
Здесь никто не подсыпает дуст,
здесь не будет визжать «болгарка».

Так шагай таракан по лбу!
Вам противно? А мне приятно.
Сколько раз он видал в гробу
наши карты и белые пятна.

Миллионы свирепых лет
он врастал то в янтарь, то в гравий.
Обновлял свой бронежилет
под напором стихий и тицеславий.

День придёт. Загорчит вода.
Ни один не вернётся из боя.
И наследует землю тогда
скромный труженик из мезозоя.

Вот он крошку с руки берёт,
все конечности напрягает,
упирается, и жуёт,
будто мёрзлую землю копает.

И пошёл... по руке к виску,
быстр, как тромб, и никто не в обиде.
Видел он и любовь и тоску,
это я ничего не видел.

ОДНОКЛАССНИК АНТОН

Он родился от мамы и папы в культурной семье.
В младших классах лепил Ахиллеса и мыслил Елену.
Был и дядя, который открыл, что Гомер не поэт,
Вот Вергилий... Гораций! – и дядины карие очи
Озарялись такой первозданной нездешней слезой,
Что поверишь и Канту, и Юнгу, и в «сущности свыше».

Дядя горько, но честно закончил мхмат МГУ.
Его вкусу могли позавидовать в зале журнальной.
Вкус вообще в их семье почитался главою всему,
И Антон в десять лет засыпал за стихом Элиота.

«Как писать после Данте?! – навязчивый дядин вопрос –
Мандельштам это твердь! Это камень, запущенный в небо.
Слово ждёт, когда вновь Одиссей натрудит полотно!
Это воздух, Антон!». И Антошка кивает усердно.

Никогда он не будет смотреть терпеливо во тьму.
Ибо что там во тьме? Ничего. Только тьма бескультурия.
Он найдёт золотое руно в самых толстых томах,
Ибо, что есть руно, как не листья на древе искусства.

Ничего – скажет дядя – закончишь мхмат и тогда...
В их семье сей вопрос никогда даже не обсуждался.
Но Антон не осилил ни скрипку, ни сумму рядов,
И закончил с зелёным дипломом филфак люберецкий.

Двадцать лет я его не встречал ни в сети, ни метро.
А на днях в лабиринтах фейсбука наткнулся на дискурс:
Энтропия абсурдов и смыслов в свободном стихе,
Симулякр запятой как рандомный графический образ.

Он теперь феминист и адепт всевозможных меньшинств.
У него недоходный, но в целом приемлемый бизнес.
Слава Богу, что он никогда ничего не писал,
А то вот бы работал в каком-нибудь толстом журнале.

Ольга АНИКИНА /Новосибирск – Санкт-Петербург/

АВГУСТ

По горизонту красная кайма,
царапина на золотом колене.
У северного берега в морене
зашевелилась близкая зима.

И в ход идут румяна и сурьма,
приметы неизбывного старения,
и линии последних повторений,
и августа густая хохлома
по контуру чернеет бузиной,
и пахнет облепихой и сосновой.

Горюч шиповник, жимолость лилова,
и утомлённым воздухом не зной
гудит и дышит в небе надо мной,
а раковина моря ледяного.

Вот и солнце упало
в серый дым на горе.
Золотые рапаны
умирают в ведре,

и по гальке перловой,
рядом с тихой водой,

кто-то ходит с уловом
или с тарой пустой.

Остывающий камень
и забытый лежак.
За неясным шуршаньем
различается шаг,

и лежак убирают,
и пора бы уйти,
в небе чайка вторая
вслед за первой летит.

С неба холод спустился.
воздух тёмен и глух.
Забери меня с пирса.
Забери меня с пирса.
Я считаю до двух.

Застряла в тонком дождевом ушке
сверкающая нитка золотая.
а на веранде лилия в горшке
бледнеет, виновато отцветая.

За мокрою дорогою лесной,
где мост из паутины подвесной
меж ветками сосновыми проброшен,
полна трава лазуревых горошин,
и листья отливают белизной.

И тучи в небе медленно влачат
груженую сполна подводу ливня.
С пустой веранды смотрит в небо длинный
дрожащий стебель белого луча —

так лилия вытягивает свой
последний день из темноты горшечной,
и гостье, на порог едва взошедшей,
она кивает старой головой.

Ни тебя, ни меня, только тени, и ветер, и тени,
только соль на камнях — простила и сразу пропала,
и качаются тонкие стебли подводных растений,
бестелесные духи медуз и погибших рапанов,

только крик над водою, высок и всегда безответен,
на дрожащих холмах — черепков серебристые груды,
ни тебя, ни меня, только ветер и рваные сети,
и дитя у воды, что явилось само, ниоткуда.

Это девочка — слышишь, она осторожно ступает
по песку и по водорослям, по кускам перламутра,
и сквозь водную толщу огромная рыба слепая
всё глядит на неё, и не видит, и плачет как будто.

Зима перебелила города,
перемолола, перелицевала,
и снова снегом перецеловала
своих недоцелованных, когда
они так вожделели белизны,
и выставляли напоказ такое,
что к воздуху притронешься рукою,
и сразу станут помыслы грязны.

Ты жаждал обновления — и вот
забытый фокус, древняя уловка:
злодейка, душегубица, воровка
в сиянье белом медленно плывёт.
И на ветру серебряная дрожь
и острые стекольные игольца,
и никнут к пальцам ледяные колыца,
и ложь нежна, и да пребудет ложь.

Так мягко стелет, так бормочет: спи,
что словно не на улице с огнями,
а рядом с занесёнными санями
нашёптывает во глухой степи,
где лошадиный взгляд заледенел,
и пустота направо и налево
так, что не видно чёрного на белом,
и белый свет неодолимо бел.



Наталья Ахпашева /Абакан/

Капля камень точит.
Времена — в песок.
Яростные очи
вспыхнут на восток.
Озарит курганы
древний божий лик.
Упадёт обманный,
предрассветный миг
сумрачно и глухо
на ковыль-траву.
Отведу до уха
злую тетиву.
Из тысячелетий —
в даль и сквозь меня,
канувшего в нети
поколения,
плоть времён пронзая,
от родных шатров
взгляд уйдёт до края
будущих миров.
Взрежет воздух, спящий
в сердцевине мглы,
остриё летящей
на восход стрелы.

Я стучу колотушкой в бубен.
Чрево Матери Мира бужу.
Танец мой причудлив и труден.
Задыхаясь, заклятъя твержу,
чтоб явились из тёмного чрева
души нерождённых людей.
Приближается время сева
после жатвы последних смертей.
Оживает пространство ночное.
В тесной юрте сгущается дым.
Отзываются эхо густое
гулким рокотом, стоном глухим.
Жаждут степи влаги обильной.
Плещут волны времён в берега.
Под лохматой звериной личиной
я танцую вокруг очага.
Взгляд безумный лучится надеждой.
И колеблет основы основ
хриплый глас. И гремит под одеждой
ожерелье из волчьих клыков.

ДРЕВНЕЕ ИЗВАЯНИЕ

Здесь проходили караваны
кочевников. И каждый год
кололи чёрного барана
и кровью мазали мне рот.
Тугие бубны рокотали.
И освещая тёмный ров,
свод неба синего лизали
десятки жертвенных костров...

И уходили караваны.
И ветер разносил золу.
И череп чёрного барана
в густую вглядывался мглу.

...А ты бросаешь горсть монеток.
Автомобиль в пыли стоит
дорожной. Ты, наверно, где-то
богат и очень знаменит.
Но в миг прозренья и прощанья
замешкаешься предо мной,
чтоб ощутить поверхность камня
внезапно дрогнувшей рукой.

Закат купается в крови.
Теперь не молятся, не плачут,
но просят так же все — удачу
и на охоте, и в любви.

Проступает из памяти древней,
как сквозь пыль бездорожных степей,
возвращаясь в родные кочевья,
мы торопим косматых коней.

Через все поколения помню,
как плывут на повозках шатры
и как весело скалятся кони,
покидая чужие миры.

Нам навстречу рассветы клубятся.
Медным бубном пространство гудит.
Прах религий и цивилизаций
осыпается с гулких копыт.

Лижет ветер скуластые лица.
Страстно сужена ярость зрачков.
И ноздрям запах родины снится —
горечь трав и дымы очагов.

Степь листает страницы скитаний.
Плещет вслед ковылей седина.
Мы прошли через все расстоянья.
Мы дойдём через все времена.

Табуны мои степные — вороные и гнедые.
Нерасчёсанные гривы, дикий нрав, оскалы злые.
Будто морок ураганный, мчатся сквозь восход туманный,
а вдогонку раздаётся посвист буйный, крик гортанный.
Помнишь? Молодыми были и в табунщиках ходили,
всем другим парням на зависть плеть за поясом носили.
Солнце катится на запад, день уходит без возврата,
и не можешь надышаться чабрецовым ароматом.
Счастье — не звенит в кармане, сколько силы ни достанет —
не удержишь против воли, как двухлетка на аркане.
И во времена любые сорвиголовы лихие
будут гнать по следу счастья табуны свои степные.

Темно во мне начало Инь –
неутолимо и всевластно.
Глаза языческих богинь
к вискам заужены прекрасно.
Не знают ни добра, ни зла
исчадья мудрой несвободы.
Их первобытные тела
в себе содержат мощь природы.
Тяжеловесна поступь их,
бесстрастны бронзовые лики,
и в глубине зрачков немых
желаний вызревают блики.
И нестерпим дыханья зной.
Тугое чрево необъятно –
как почвы плодородный слой,
таинственно и благодатно.
Забытый рокот их имён
ещё мир чувствует подспудно.
Праматери земных племён
в веках почили беспробудно –
заносят пыльные ветра
дохристианские могилы...
Из них – последняя сестра,
хочу не верности, но силы.
В молочно-предрассветной мгле
далъ растворяется степная.
Иду, во вспаханной земле
по щиколотки утопая...

По степи на лошадёнке тощей
ехала горбатая карга.
Ворон на горбе крылом полошет.
Следом пёс – подбитая нога.

Тусклый взгляд от старости слезится.
Как пергамент, сморщилось лицо.
И на солнце весело искрится
в правом ухе жёлтое кольцо.

Заподень горбатую старуху
нагоняет молодой дурак.
Наклонился к золотому уху:
– Дай дорогу, так тебя растак!

И пропал на сторону заката..
Лошадёнка мнёт степной ковыль.
За хозяйкой старой и горбатой
пёс хромает и глотает пыль.

Круг земли от солнца отвернулся.
Потемнели горные горбы.
Пёс завыл, а ворон встрепенулся.
Что там за знамение судьбы?

Пёс завыл, а ворон опустился
на высокий одинокий холм..
– Вот где ты, дурак, остановился!
Будешь мне пригожим женихом.

Богатыри на траве-мураве отдыхают
в глубь небосвода плывёт немигающий взгляд.
Или о прежних победах своих вспоминают?
Или к подругам тоскующим думой летят?
Облака тень укрывает их шёлком прозрачным.
И стережёт – в изголовье – прохлада камней.
Как им, наверно, отрадно пить взглядом незрячим
коловорашенье космических сфер в вышине.
Не побороть богатырскую – насмерть – усталость.
Не отогреть поцелуем желанным уста.
Кровь – до кровинушки – в чёрную почву впиталась.
Рваные стяги над степью закат распластал.
Будто гроза, богатырская рать отгремела,
и тишина воцарилась в пространствах родных.
Кто из них – мёртвых – сражался за правое дело?
И всё равно уже, кто был неправым из них.

Рукава рубахи белой
в синеву летят.
Я когда-то не сумела
удержать тебя.
И теперь, простоволосой,
плачу на ветру.
Пьёт серебряные росы
солнце по утру.
Взгляд плывет до окоёма
с городской стены.
Не искал бы ты от дома
славы да войны.

Свет во тьме безвестной тонет
на Каяле той.
Раны кто твои омоет,
господине мой?
Быстрой птицей обернусь я...
Снова стон стоит
обо всех, кто не вернулся
из кровавых битв.
И доносится сквозь дали
и через века:
— Омочу в реке Каяле
шёлковый рукав...

Георгий Чернобровкин /Олонец/

ОСЕННИЕ ПИСЬМА

1.

Когда к бумаге время подойдёт,
пускай летит в железный синий ящик
с почтмейстерским гербом своим. Так вот,
тебе — пишу о нашем настоящем:
о том, что время вырвалось из пут
и мчится прочь — до красного смещенья,
и если наши дни ещё идут,
то по причине полного смущенья
от неосуществимости любви.
И все слова мешаются в загоне,
лавируют, как люди на перроне,
и не даются, как их не лови.

2.

Величина, похожая на дом,
темна и ждёт разбухшего рассвета.
Окно почти что сдавлено выюном
и диким виноградом. От сюжета
любовного осталась лишь постель,
фотоальбомов выжатых обложки.
Наверно, есть на свете Коктебель,
есть остров Крым, но нет туда дорожки.
Прожилками застыли облака,
похожие на мраморное мясо.

Сереет ночь, и влажная терраса
для одного – безмерно велика.

3.

Иглой пера бумагу исколов,
нащупываю: где ты, *vita nova*?
И не хватает воздуха и слов.
Когда же сны приходят, то мне снова
всё мнишься ты и осторожный лес,
рассыпанный на жёлтые осколки,
но я во сне не узнаю тех мест,
где живы мы. На прикроватной полке
аремотствуют седые словари,
болванчик так же, головой качая,
ждёт то ли сигарету, то ли чая,
но некому промолвить «завари»...

4.

Холодный день, горячая мигрень.
Забываю под плед, под замершие тени.
Не будет под дня. Время, как шагрень,
скукожилось, и нет ему замены.
Рассыпан мир, и некому связать
в единое запутанные нити.
Осталось только строки выдыхать
письма, как в утешительной молитве.
Пишу неутолённые слова,
а жизнь идет, проста и одинока,
тоска черна, и острая осока
осенних писем теплится едва.

«Вечер и тени сбиваются кучно.
Скучно раздельно им. Лето в разгаре.
Лес примеряется закат, и сургучно
в землю впечатаны сосны. На шаре
дольнем полковников нынче в избытке,
а почтальонов нехватка: до дрожки
ждёшь не письма, так хотя бы открытки –
нет ни того, ни другого. Встревожен
долгим молчанием. Точка. И дата.
Сколько же лет мы не виделись, кстати?»

«Пообещай, что приедешь намедни.
Только не медли. Здесь речка, и в заводь
смотрит валун, отливающий медью,
и полагает, что может в ней плавать.
Небо в меня смотрит пристально. Ныне
поздняя Троица, день духовитый.
Лето идёт к своей горней вершине.
Щавель на грядке краснеет завитый,
зреют клубника, смородина, свёкла.
Красное солнце глядит в мои окна».

«Странно, что жизнь началась не сегодня –
так совершенен мой день на закате.
Вот уж, действительно, лето Господне:
речка рябит, как измятая скатерть,
мягко комар тишину полирует,
пахнет смолою, и маня томится...
Думаешь: «Смерть никого не минует,
только со мною её не случится...»
Ветер кивает верхушками сосен:

«Нет, никого...» И взбирается осень
тёмной водою на берег, качая
 чаек над сосновами, прячется в складки
 неба и мнёт лепестки иван-чая,
 полнит собою набухшие грядки...
 Всё ли в порядке в твоём королевстве?
 Вести сюда не доходят. Не вместе
 прожили жизнь, а она не воскреснет.
 Жаль. Ты пиши мне. А знаешь, на месте
 нашем, где мы любовались закатом,
 выстроен дом с красной крышей покатой...»

«Шествует вечер в кирпичной рубахе.
 Словно на плахе стою на крылечке.
 Вот и устали упорные пряхи:
 руки и пряжу полошут на речке –
 мягко шерстинки плывут по теченью.
 Тенью проходит в мой дом воскресенье.
 И приближается к летосчислению
 жизнь, что прошла, как гроза в отдаленье:
 гром вроде есть, только ливень далече.
 Жаль, что ни письма, ни время не лечат».

«Жизнь паутинкой натянута остро.
 Просто порвать и пораниться просто.
 Каждый из нас – это всё-таки остров.
 Кто-то поболее, кто-то полоска
 рыжих песчинок на отмели топкой.
 Все истончимся со временем славным.
 Жизнь уплывает рассохшейся лодкой
 вдаль по реке, и уставшие ставни
 дом закрывает. Пиши мне на лето,
 в наше поместье из старого света».

Всё думалось, что осень на дворе,
и что *ещё* становится бабье лето,
но — ни письма, ни жалкого привета,
и только снег в звенящем январе.

Я не пишу тебе который год,
ты адресат, что *выбыл*, и, наверно,
уже на жизнь, и жить немного скверно,
когда зима застыла у ворот.

Мне не собрать слова письма вовек.
Прозрачны льдинок хрусткие осколки.
И почтальона, видно, съели волки.
Так и живу. В Макондо выпал снег.

Вечер. Сосны. Ржавой скобкой
прошивает белка лес.
Куст черемуховый робкой
пеной выдохнул: «Воскрес...».
Солнце тянет к горизонту
рыжий бредень по воде.
Хорошо бы жить у Понта,
только Понта нет нигде.
Есть провинция, да доля
собирать в ладонь песок,
представление и воля,
жизни тонкий волосок.

И песчинки катят дюны,
и пока всё во плоти.
Вечер. Солнечные струны.
И от смерти не уйти.

Я всматриваюсь в небо. Облака
глядят в меня всё пристальней и ближе.
Мой день осенний, как лисёнок рыжий,
ты греешься за пазухой, пока
плывёт июль и лодка мнёт тростник.
Я поднимаюсь выше по течению,
в воде прозрачной рыбы тень за тенью
скользят, передвигая материк.

Вода течёт и времени в обрез:
что не успел, того уже не сделать.
Как странно знать, что не минует зрелость
ни плод земной, ни душу и бог весть
что ждёт меня за ломким тростником.
Вода и небо слиты воедино,
и обжигает лета середина,
и бок шершавит осень языком.

Недостижимый адресат,
из тех, кто выбыл в неизвестность,
ты жил и был, а ныне — местность,
кладбищенский, по сути, факт.
Взъерошишь память и тоску
свою познаешь в полной мере:
я тоже жил в эсесесере
по окрику и по свистку.
Я так же медленно ходил
по провисающим канатам,
пил, как и все, ругался матом,
и люто родину любил.
И век двадцатый отверел,
страна прошла и солнце ясно,
глаза слепит короста наста,
и режет буквы хрупкий мел,
и аспидная врёт доска:
весны не будет. Честно-честно.
Есть лёд и снег. Земля и место.
Вернее, местность, и тоска.

Утро. Холодное небо. Как будто
дождь обещается. Солнце сквозь тучи
светит неправильно: блёкло и мутно.
Надо, наверно, картошку окучить...

Чай на столе остывает. На блюдце
крошки печенья, сосновая шишка...
День обещается бледный и куцый,
словно скинхеда дежурная стрижка.

Дым сигареты. Тягучие кольца.
Шишка на блюдце — привет Саломе.
Надо быть схожим по жизни со Штольцем,
только Обломов, пожалуй, милее.

Так... Рефлексия... Холодное утро
где-то в России. Отставлена чашка.
Солнце на соснах качается утло.
Облачно. Спички. Жестянка. Затяжка...

Андрей Родионов /Москва/

асфальт сиял покрытый льдом
огнём московских улиц
стоял пятиэтажный дом
в нём жил один безумец

надев волшебные очки
гулял он по столице
и видел женские зрачки
и кукольные лица

о это сон — горящий лёд
огни ночного мира
он отражает и блудёт
таинственные мифы

лёд отразил пока горел:
для смертного незрима
одна среди небесных тел
звезда Екатерина

судьба даёт нам испытать
лишь то что нам по силам
никто не знает что сказать
и он шептал: спасибо

неверный лёд и каблуки
скользят на тротуарах
и лишь волшебные очки
и фары фары фары

В Петербурге в маленькой кафешке
Сколько мы не виделись с тех пор
Встретился я с другом и без спешки
Начался негромкий разговор

Говорили о былом о думах
За окном сгущался невский мрак
Вдруг сказал он, я вот тут подумал
Сталин не такой уж был мудак

Были ведь враги, они ведь были
Были тут вредители везде
Их не так уж много посадили
Слишком уж раздуты цифры те

Тишина стаканов перезвончик
Капля водки чистый бриллиант
Сашка Сашка ты же электронщик
Сашка Сашка ты же музыкант

Лепетал я глупо и ненужно
Он сидел спокоен духом чист
В кабаке похожем на психушку
Старый электронщик-сталинист

Долог путь домой у сталиниста
На метро потом маршрутка два часа
По дороге сон ему приснился
Светлая такая полоса

По тайге глухой гуляет эхо
Нацепивший желтые очки
Там перед толпою бритых зеков
Он миксует разные звучки

Страшный ритм веселый электронный
Где полярной ночи темнота
Да торчат ручёнки из сугробов
И глазёнки смотрят из-под льда

Андрей Козырев /Омск/

ПРОЧНОЕ В СМЕНАХ

Александру Кушнеру

Рябина на ветру,
Рабыня всем ветрам,
Скажи, когда умру,
Скажи, что будет там.

Рябина на ветру,
Рубин живой души,
Верши свою игру,
Пляши, пляши, пляши!

Твори, твори, твори
Свой танец, свой испуг!
Воскресни, вновь умри
И оживи — для мук!

Листвы осенний пляс
Под собственный напев
Изобразит для нас
Наш страх, и боль, и гнев.

Упрям, устал, угрюм,
Иду в тени ветвей,
Не вслушиваясь в шум
Глухой судьбы своей.

Лечу я без следа,
Как суетливый снег,
Из жизни — в никуда —
За так — за миг — навек.

Манит запретный путь,
Хмельная тянет страсть
Устать, упасть, уснуть,
Забыть, убыть, пропасть.

Не вычитан из книг,
Непредсказуем бой.
Просторен каждый миг,
Наполненный собой.

Крепи, коряwyй ствол,
Мошой древесных мошь,
Чтоб дважды ты вошёл
В один и тот же дождь!

Не превратится в дым
Мой путь, мой след, мой труд,
Всё в жизни, что моим
На сей Земле зовут.

Рябина на ветру,
В крови, в огне, в заре,
Учи меня добру,
Учи меня игре,

Учи, как без труда
Прорваться — в монолит,
Туда, туда, туда,
Где мрамор и гранит,

Где боги и быки,
Где век и бег минут
В мои черновики,
В словесный рай, войдут.

...Огонь листвы во мгле,
Пробушевав свой век,
Приблизился к земле
И тело опроверг.

Созвездье русских слов
За гранью жития
Мне обещает кров,
Где отдохну и я.

* * *

У меня в Москве – купола горят.

Марина Цветаева

У меня в Сибири снега лежат.
У меня в Сибири дубы дрожат.
И Сибирский тракт сквозь века ведёт
В шкурой выстланный небосвод.

У тебя в Москве – колокольный звон,
Колокольный звон из иных времён.
Колокольный звон да монетный звяк,
Беготня, да гам,
да кабацкий мрак.

А в Сибири-то кандалы звенят,
Кандалы звенят да слова звучат
Про воров, про воронов, про орлов, —
Слишком много их,
непокорных слов!

А Москва всё молится да молчит,
Всё молчит-молчит да суму растит.
Нарубить рублей из живых людей —
Вот затеюшка
краше всех затей!

Но медвежьей шкурой чернеет даль,
И снега молчат, и молчит печаль,
Молча светит горечь сквозь темень глаз:
Нам сквозь строй идти —
да не в первый раз.

И бегут гонцы из Москвы в Сибирь,
И медвежьей шкурой ложится ширь,
И звучит в столетьях крикливый спор,
И не ржав топор,
и острог востёр.

Колокольный звон да кандалльный звон —
Завязался спор до конца времён.
И звенят они, не уйдут добром,
Сквозь монетный звяк
да снарядный гром.

Инна Кабыш /Москва/

Как говорит соседка моя баб Люся:
«Я с каждым днем счастливее становлюся...»
(Хоть ни кола, ни двора у ней, ни скотины —
только и есть одна у ней гильотина,
что от всего отсекает дурные части,
преображая любое не-счастье в счастье.)

Вот оно, вот оно, вот оно:
осень, крепчает мороз,
пленкою грядка замотана —
это надолго,
всеръез.
Это со мною останется —
грядки, тетрадки, Гомер:
там Пенелопа не старится,
вот мне и яркий пример.
Ткет она нитка за ниткою
и распускает опять:
можно назвать это пыткою,
можно блаженством назвать.
Держится всё мироздание
этим нелепым трудом:
знать бы мне это заранее,
не позабыть бы потом.

Ох, одиссей осення —
и не плыви, да живи:
нет, говорят мне, спасения,
есть, говорю, —
от любви.

Как удлиняется день,
как сокращается май,
царствует всюду сирень —
ты мне её наломай.
И не жалей, не жалей,
ибо бессмертна она,
жизнь с каждым маем милей,
ибо всего лишь одна.
Так что ломай, мой родной,
да не убудет её,
да проплынет над страной
смертное имя моё.

Григорий Шувалов /Москва/

СЕАНС СВЯЗИ

И разум всех людей соединяет нас,
и вижу я тебя, и слышу я твой голос,
иллюзия твоя прищуривает глаз,
и улыбается, и поправляет волосы.

И радиоволна сшивает нас с тобой –
илюзия твоя шипит на мониторе,
как будто за окном полощется прибой,
как будто мы с тобой приехали на море.

Я не могу тебя вдыхать и осязать
и твоего тепла не ощущаю тоже.
Я даже не могу тебя за руку взять,
обнять, поцеловать – на что это похоже?

Но, если невзначай на кнопку я нажму,
исчезнет голос твой в далеком отголоске,
как будто целый мир обрушился во тьму
на оживлённом перекрёстке.

Но стоит мне опять на кнопочку нажать,
и можно начинать наш разговор сначала.
Но всё же не обнять и всё же не поднять –
влюблённому в тебя сеанса связи мало.

Мужик за забором, он красит забор,
который меня разделяет и двор,

элитного дома он страж и газона,
а возле забора подохла ворона.

Сидеть на заборе придётся не ей –
она уже стала добычей червей.

И мимо забора сквозь сон и дремоту
как офисный червь я ползу на работу.

Пусть мысли о смерти совсем не страшны –
зачем же ворона с моей стороны?

Анна Гедымин /Москва/

Спасибо, судьба, за нежданную милость —
Что счастье ко мне так рвалось и ломилось,
Так жадно меня умоляло о встрече,
Что я наконец-то устала перечить.

Как будто очистилась жизнь от корости,
Как будто сбылись новогодние тосты,
И бродит душа по расцветшему раю...
Я знаю теперь, что я многое знаю!

Я знаю, что прошлое было кошмаром,
Что счастье дается случайно и даром —
И лучшим, и худшим, и средней руки,
Всему, что твердили мне, вопреки.

Ты для меня
Больше, чем беда,
Больше, чем вода
В пересохшей окруже.
Ты для меня —
И шальная толпа,
И лесная тропа,
И друзья, и подруги.

Давай
Сядем, как в детстве, в трамвай,
Чтобы лужи и брюки клёш!
Давай
Ты никогда не умрёшь!
Лучше уж я...

И стану для тебя
Солнцем над головой
И лохматой травой
У ограды.
Чтоб все подруги твои
И все супруги твои
(И даже мама твоя!)
Мне были рады.

ВЕРА

А солдат не вернулся домой
Ни весной, ни зимой.
Не увидел, пройдя сквозь сени,
Как на добром смолёном полу
Под лампадкой, в углу,
Вон – оставили след колени...

Всё ждала, не тушила огня.
Глубже день ото дня
Головой уходила в плечи.
И уже не творила хулу,
Только в красном углу
Лик повесила человечий...

Будто видела — помню об этом дне:
Говорили: «Красные входят в город».
Это предок мой на гнедом коне
Мчал за криком своим, разорвавшим ворот.

Победитель! Его не задержит лес,
Не сломают ветра, не утопят реки...
Но другой мой предок наперерез
Выходил — остьаться в бою навеки.

Два врага погибли — и две строки
Родословная вносит в свои скрижали.
До сих пор сжимаю я кулаки,
Вспомнив предков — чтоб руки не так дрожали.

Я поповская правнучка — и княжна,
На конюшне пррапрадед мой был запорот...
Так — о боже! — что чувствовать я должна,
Если снится мне: красные входят в город?..

Август. Полдень. Ёлок вереницы.
Три недоразрушенных избы.
Я сюда на запах медуницы
Прихожу, как в детстве — по грибы.

И брожу своими же следами.
И робею у церковных стен:
Что просить нам — траченным годами
Очевидцам бурных перемен?

(Вон и туча щерится морозно,
Будто бы уже закончен суд!)
Славы – стыдно, пониманья – поздно,
А любви не просят, только ждут.

Боже, стать бы тем седьмым коленом,
На котором завершится месть!..
Медуница нежно пахнет тленом –
Неужели горше запах есть?..

Когда мы
уже не помышляем о лете,
Солнца не просим,
Начинается жизнь в терракотовом цвете –
Поздняя осень.

Краткая милость,
перед мёртвой зимой – многоточье,
Славься вовеки!
Стеклянные яблоки
после морозной ночи
Стынут на ветке,

Падают,
словно ёлочные шары – разлетаются,
Только тронешь.
Лишь вороны всё ахают,
всё придумать пытаются
Свой Воронеж.

А я каждый вечер гляжу,
Как тонет солнечный диск
В поздней кроне.
Только бы не облака!
Только бы не отвлечься,
Не проворонить!..

Григорий Медведев /Пушкино/

Ну да, плохо вато жили,
но хлеба к обеду нам вдоволь ложили.
И в школьные наши карманы,
как в закрома
от Родины крохи
падали задарма.
Ну да, широко не живали,
но хлеб из-под парты жевали –
вприкуску с наукой пресной
и затяжной –
вкуснейший, здесь неуместный
мякиш ржаной.
Я надевал в десятый
топорщившийся, мешковатый
пиджак (надевал и злился,
все ждал, когда дорасту),
в котором отец женился
в 83-м году.
И где он теперь забытый
с крошками за подкладкой?
Такой у меня вопрос.
На уроках украдкой
хлебом карманным сытый –
отца я не перерос.

Это «Дон» – федеральная трасса.
Впереди по ней дом, сад, терраса.
Триста верст перелесков и пашен,
весь маршрут желтизною подкрашен.
Будто для оживленья ландшафта
то корова мелькнет, то лошадка,
и встает по ту сторону Тулы
над полянами месяц сутулый.
Я доехал, сошел у проселка.
Этой ночью прощального толка
хорошо мне сидеть на скамейке
под навесом, как в давешнем веке.
Двадцать лет тому – дом еще прочен,
слом не начат и сад не подточен.
Подбираются тени к огню.
Оставайтесь, я не прогоню.
До весны разобрали теплицы.
Хорошо у костра нам сидится,
тлеет медленно стебель за стеблем,
и стоит тишина над подстепем.

ЛОМОНОСОВ

Солнце ходило по небу, как блесна,
тучи глотали его, и была весна.
А Ломоносов – рыб знаток и светил –
бронзовым взором окрестности обводил.
Детища своего отвернувшись от,
отдохновенье обрел сочинитель од.
Что ж, я Михайле повинной кивнул головой
и восвояси отправился с Моховой.

Тьма обступала город со всех сторон.
Был я отвергнут, но счастием одарен!
Так распадалась жизнь на неравные две.
Змейкой кружила майская пыль по Москве.
В будущее несло меня кувырком,
гром провожал архангельским говорком.
Я оглянулся кованых подле врат,
привкус свободы и пыли был горьковат.

Яблоня плодоносит лет пятьдесят,
если хватает сил.
Мой дед, посадивший сад,
его уже пережил.
Мы вдвоем в запустелом сидим саду,
август, трава ничком.
Поднимаю и на скамейку кладу
антоновку с битым бочком.
Дед выпрямляется, гладит кору
яблонь, кора жестка.
Верю, приговоренные к топору
они узнают старика.
Жалко тебе их? Кивает: да.
Ветер доносит дым.
Он все понимает и смотрит туда
куда-то. И мы молчим.

Неутомимо свёrla
темя сверлят под шапкой,
тает во рту глицин.
Осень берет за горло
оцепеневшей лапкой,
кто кого — поглядим.
Осень — одно и то же:
хищные когти скрючив
мокнет ворона — с тех
пор, как смертное ложе
стала ей листьев куча —
здесь только дождь и снег.
Мы оказались между:
сверху осадки, снизу —
листья и лужи — хлюп —
мокрый снег на одежду
падает, на карнизы
и в приоткрытый клюв.
Климат, за что, зачем нам
дан ты, как срок ГУЛАГа
некуда, в общем, бечь.
В переходе подземном
ко испитой бродяга
мне обращает речь:
«Подсоби инвалиду»,
дланью приемля стылой
двшушки и пятаки...
Не теряй нас из виду,
Отче, спаси-помилуй,
мелочью помоги.

Самое время по пояс кариатиде
Андрей Белый

Две дубовые балки держат над головой
потолок этот жалкий, уголок родовой.
На покатые плечи русских кариатид
он возложен — далече им идти предстоит.
Неподвижные бревна, тот же вид за окном,
но я вижу подробно, что уменьшился дом.
Убывает как будто за хозяином вслед,
потому — ни уюта, ни тепла уже нет.
Сестрам время по пояс, они пробуют вброд,
не загадывай, кто из них первой дойдет.
Не утонут, не канут, если время — вода, —
вровень с мрамором встанут, и теперь навсегда.
Я один из последних провожаю их вдаль
не жилец, не наследник, да и гость тут едва ль.

Людмила Орагвелидзе *Тбилиси/*

Вокруг села — на север и на запад —
По горным кряжам и болотам топким
Тянулся лес, — а на огни и запах
Из чащи к избам выходили волки.

Здесь пели песни, пили и скучали,
Держали скот, копались в огородах...
Никто не знал куда идут ночами
Гружёные районные подводы...

Весной исчезли староста и егерь,
Оставив бабам страх и кривотолки;
Затем — другие... А в глубоком снеге
Катались волки и жирели волки.

Как сорняки росли худые дети,
И каждый осторожно ждал кого-то...
Никто не знал откуда на рассвете
Ползли назад порожние подводы...

Проходя, заглянуть напрасно
В этот старый тифлисский двор,
Где с три короба врал вихрастый,
Семилетний мой ухажер.

Может, скрипнут тугие ставни,
Гулко прыгнет знакомый кот,
Может быть, сумасброд Евстафий
Вновь колдует среди реторт...

Всё как прежде: балкон, посуда
И провисшие провода.
Только голуби – не оттуда,
Только лестница – не туда...

Подошла, замок открыла.
Здесь она
Просидит на двух могилах
Дотемна
И придёт опять под утро
В серый свет.
Для неё иных маршрутов
Больше нет.
Всё сюда, – подушки, ложки
И ножи,
В этом склепе скоро можно
Будет жить.
Чьими бусами нагружен
Образок?

Почему же ей не нужен
Новый Бог?

ОСЕННИЙ СОНЕТ

Долинный ветер — мягко и с ленцою —
Дарил округе ароматы лоз,
Со звуком ткани, вспоротой о гвоздь,
Гранаты щедро трескались от зноя.

А день спустя, лупя хвостами слепней,
Волы взвалили сочные тюки...
И сад поник в предчувствии тоски,
Неразличимо схожею с последней...

Встревожена внезапностью печали,
Я выбирала из стручков фасоль,
Гитару перестроила на «соль»,
Задумалась о слове, что — Вначале...

Как джем в тазу, вскипал закат багровый.
В конце, наверно, не бывает слова...

ИЗ МОСКОВСКОЙ ТЕТРАДИ

Еще хранят затейливый узор
Молитвенные коврики газонов;
Ещё дожди, не веря в резоны,
Недолги, как случайный разговор.

На Гоголевском, в сизой полутьме,
Соседствуют, друг друга не тревожа,
Публичность одиночеств осторожных
И нарочитый компанейский смех.

Сгущается туман, едва скользя
По сумеречной липовой аллее,
Ощерясь, львы чугунные чернеют,
Точнее – помесь львов и обезьян.

И нет тоски в чернильных вечерах,
Где по-хозяйски шаря в полумраке,
Красивые московские собаки
Ведут людей на длинных поводках.

Дмитрий Гаричев /Ногинск/

русскую школу отжали, но прилежащее к ней
неудобное поле осталось нам.

мы приходим сюда как воры, в полдень одни,
помахать что есть сил непродавшемуся физруку.

чистый тельник на нём, и голос его, в чёрных кустах сквозя,
сотрясает осени первое молоко:

прохоров, чё ты там рышешь; сёмин, ко мне бегом;
феоктистов, я всё блядь вижу; афанасьев, куда ты полез?

и мы тоже смотрим и ждём несколько минут,
но на поверхность к нам не является ни один.

ни с мостовых дэтройта, ни из ливанских песков,
ни с киржача, ни с лакинска выдачи нет.

только учителя и выживут, говорю;
будь к ним послушна, им здесь страшнее всех.

(из джейсона молины)

так и лежало бы тело моё
в месте пустом городском, ещё припоминая

с ним фонарь торфяной и приёмник латышский цветной,
истончённые счасти, настольный хоккей

так лежали бы все, наблюдая с земли
грузовые суда с нашей гжелью, еловым песком,
возвращающиеся домой, клюквенной смолой
истекая как древние звери

рвутся ясные флаги их, как на кострах, и у нас
с дальних башен топорщится перьями газ, прорезаем волокнами йода:
пусть их слава не та, это честные наши цвета

год за годом всю тысячу лет
на любом километре и ночью любою, нам слышно и слышно,
как они не зовут нас домой

письменные проклятья, завтрака тёплую часть
я оставляя здесь, и помочь была всегда.

от складских собак, от обрубков, гулявших днём
с жёлтым kleem в одной и отверстым ножом в другой,
как бы краем его пиджака я бывал укрыт.

в класс, где меня тогда считали за дрянь,
я входил не страшась, словно за руку с ним.

или с отцом с театра, в животной тьме
он белел над посёлком, как тысячу лет назад,
и смиряемый ужас не приподнимался с земли.

когда лучшая из живых отказала мне,
я улёгся пред ним, чтобы больше не встать, но и это тоже прошло.

как обманщик, с тех пор я не возвращался сюда.
только пришлёпки из кпрф что-то и относили ему.

ночь капитала, плеск её цифровой
развели нас порознь, что ещё объяснять.

самой гибкой зимой из последних, по рукава в снегу,
от летящей теслы, падающей крипты
некому заслонить меня ни на шаг.

Тариэл Цхварадзе /Батуми/

Ну, здравствуй, мама. Этим летом
мой БТР в ночном дозоре,
на берег вполз перед рассветом,
и я, представь, увидел море!
Всходило солнце, под лучами
волна искрилась в синем цвете,
а у пустынного причала
валялись брошенные сети.
Встревожено кружили чайки
над головой, не понимая,
зачем к ним на правах хозяйки
машина въехала чужая?
Нас не встречали здесь цветами
на площадь вышедшие дети...
Стянуло небо облаками
от Поти и до Кобулети.

В больших глазах была мольба
и безграничное доверье,
я ей дарил, касаясь лба,
надежду, только на мгновенье.
А ей казалось рядом Бог,
пришедший вдруг из ниоткуда
на перекрёсток двух дорог,

чтоб сотворить сейчас же чудо.
Как объяснить, что я не Бог,
что жизнь вообще-то злая штука...
Асфальт в крови — лежит щенок,
а рядом плачущая сука.

Время пролетит, возможно снова,
поднимусь аллеей не спеша
к замку нестареющего Львова
листья по дороге вороша.
Воздух чист и клён уже багряный
наповал сразит своей красотой,
если буду, как обычно пьяный,
скину туфли и пойду босой.
Завитушки кованых заборов,
терпкий вкус наливочки в кафе,
призраки готических соборов
объявляют аутодафе.

Всё этой ночью было из стекла —
аэропорт, отель и даже лица
и чача виноградная текла
и согревала в холод, как Жар-птица.
Хотел, чтоб окна выходили в сад,
а не к перрону метрополитена,
колёсный стук, вибрировал фасад
и ослепляли лампы галогена.
Нет, не тиха украинская ночь

и Днепр не чуден при любой погоде,
джин лампы, напрягись и обесточь
метро и освещенье в переходе.
Усну на час, и тут приснится сон,
как панночка стучится гробом в темя,
отель «Турист» пронзит мой дикий стон
и остановится на полседьмого время.
И подскочу, и лифтом быстро вниз
спущусь к буфету, выпить чашку кофе
и усмехнётся криво Дионис,
скрестив колени на хрустальном штофе.

Мы меняем города,
имена и даже лица,
и опять бежим. Куда?
Всё туда — за синей птицей.
На Гудзоне нынче лёд,
за окном собачий холод,
ну, а там, наоборот —
плюс пятнадцать, это повод —
сдать в багаж свой чемодан,
выпить перед взлётом виски,
и покинуть балаган
навсегда, без переписки.
Но гарантий никаких,
и надежды тоже мало
стать своим среди чужих —
значит всё начать сначала.
Не беда, не привыкать,
было время, было хуже,
холостяцкая кровать
за сто лет не стала уже.

Регина Поливан /Благовещенск/

Говори обо мне, как о маленьком-маленьком мальчике.
Я таким и остался, зарывшись в прибрежном песке.
У меня под ресницами небо тихонечко прячется,
и песчинки сверкают на каждом моём волоске.

И тобою забытые игры я помню, и ссадинам
на разбитых коленках моих всё никак не зажить.
И качели скрипят в нашем полузапущенном садике,
и сгибаются травы над пропастью нашей во ржи.

Ты не ходишь туда. Ты из детства давно уже выросла
и не носишь ни платье в горох, ни панамку с цветком.
И всё больше желтеет газетная старая вырезка
обо мне, навсегда семилетнем. А море тайком
словно просит прощенья за то, что обратно не вынесло,
как ракушку с песком.

Папа вышел на три остановки раньше,
помахал рукой, сстроил смешную рожу.
А ребёнок заплакал. Наверное, это страшно,
если ты одинок и хоть ненадолго брошен.

Прислонись к стеклу, глотай, как лекарство, слёзы.
Даже мамины руки утешить тебя не смогут.
Ты ещё не понял — у времени есть колёса,
не бывал на кладбище и не стоял у морга.

Да, пока что об этом рано, но вот потеря —
это больше не просто слово, а боль и приступ.
Отрывается яблоко, тает в тумане берег,
одинокая лодка ищет новую пристань.

Поговори со мной о пустяках,
чтоб не остаться снова в дураках
и разложить предметы по порядку.
Подуй в кулак. Стяни с гвоздя колпак.
Пока ещё безмолвствует толпа,
успей поставить плеер на зарядку.

Осенний день на многое готов —
проклясть друзей, благословить врагов,
сорвать с петель и защитить от ветра.
Поговорим. И может, я пойму,
как жить и быть не должной никому
и от других не ожидать ответа.

С весны пустует лавка у ворот,
бурьяном зарастает огород,
почтовый ящик стал мышиным домом.
Пускай живут хотя бы грызуны,
раз остальное превратилось в сны
и даже в горле не застряло комом.

Кресты и звёзды, белки и дрозды,
наивные бумажные цветы,
ovalы чёрно-белых фотографий.
В последний переезд — без багажа.
Всего и пригодилась бы душа,
но полностью исчерпан этот трафик.

Кто думал, что успеет, опоздал.
Стоит теперь у старого моста,
не смея ухватиться за перила.
Волнообразно небо над плечом,
и время оказаться ни при чём,
замешкавшись немного, наступило.

Всеволод Емелин /Москва/

ТРАНССИБ

На одиноком полустанке
Стоит буфет.
К нему весь томный, после пьянки
Идет поэт.

За то, что жил он неполживо
И стер случайные черты,
Его по просьбе пассажиров
Ссадили с поезда менты.

Мимо него убийц в бушлатах
Ведет конвой.
Его глаза красней заката
Над головой.

И удивительно, ведь вроде
Всё сперли, нах,
Немного денег он находит
В своих штанах.

И он у доброй толстой тетки
Себе берет
В стакан граненый 200 водки
И бутерброд.

Она проговорит с любовью:
«Ну ты, жених,
Смотри за столиком там двое,
Держись от них».

А он к стакану, пламенея,
Душой приник,
И движется на тонкой шее
Его кадык.

Какая в этой водке сладость
Какая власть
И вот она уже всосалась
И разлилась.

Впадины щек порозовели,
Как лепесток,
А мимо поезда летели
В Владивосток.

Про этот жуткий свист осенний,
Про сталь дорог
Писал Некрасов и Есенин,
Писал и Блок.

И Лев Толстой продолжил линию,
Когда без слез
Бросал, не дрогнув, героиню
Под паровоз.

Про эти станции, березки,
Буфет, ангар
Писал и Александр Твардовский,
И Блез Сандра,

И я с моей опухшой рожей
Среди равнин
Державы железнодорожной
Седой акын.

Тоски дорожной и железной
Мне не избыть.
Ответь мне стрелочник нетрезвый
Куда ж нам плыть?

Вокруг бескрайние просторы,
Рессорный скрип.
Через равнину, реки, горы
Пролег Транссиб.

Ответив на пространства вызов,
Вот эта ось,
Страну как на шампур нанизав,
Прошла насквозь.

Байкал, месторождение руд,
Тайга, барак,
Земли суповой изумруд
Брат-сибиряк.

Те, чья вся жизнь прошла средь гула
У магистрали,
Той, что Евразию стянула
По горизонтали.

Старообрядец, бывший зек,
Казак, бурят,
Простой российский человек
Электорат.

Где неизменный пищеблок
И с ним санчасть
Терпели боль, мотали срок¹
Держали масть².

Но каждый верил – этот жребий
Не навсегда,
Пока еще есть птицы в небе
И поезда.

И можно в них умчаться пулей
Куда-нибудь,
Где рельсы, как клинки, проткнули
Горизонту грудь.

То взвоя, то в тоннеле скроясь,
Через года
Летел «Россия» – скорый поезд
Черти куда.

В вагонах плакали и пели,
И ждали свет,
Который есть в конце тоннеля,
А может нет.

¹Вар. Писали в блог

²Вар. Любили власть

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ

Был мой волос цвета сажи,
Стал мой волос бел как дым,
Про меня никто не скажет,
Что он умер молодым.

Скажут, что он умер старым,
Пережив свой горький яд...
По московским, по бульварам
Только лампочки горят.

Вот стою на перекрестке,
Ем невкусный пирожок:
Я – несжатая полоска
Я – нескошенный лужок.¹

Слышу, как сбивают ящик,
Чую, близится конец,
И уже с серпом блестящим
Вдалеке маячит жнец.

Над закатной полосою,
Звезды первые горят.
Вижу девушку с косою,
Но в руках, а не до пят.

Вмиг сверкнут передо мною
Серп и быстрая коса,
Рухну на асфальт спиною
Закачу свои глаза.

¹Вар. Как отставленный Лужок (*прим. Автора*)

Жил я тише мышки серой,
Пил я водку от тоски,
Не имел глубокой веры
Сочинял свои стишки.

Жизнь ушла, пропала сила –
Не осталось ни хрена
Поэт.книг навыходило
У меня, словно говна.

Ворон когти распускает,
Ждут деменция и рак.
Этих книжек не читает
Ни один, пардон, мудак.

За показ дурных примеров,
За писание в Фейсбук –
За все это полной мерой
Мне воздаст из первых рук

Не присяжный заседатель,
А сияющий колосс –
Всей вселенной председатель
В белом венчике из роз.

И когда вопрос все ближе:
Мне во свет или во тьму?
Я дурацких этих книжек
Предъявлю, что ли ему?

Ирина Рыпка /Нижнеудинск/

будь мне иваном плыви по реке на моторной лодке
в беленькой вышиванке в красной косоворотке
днепр расходится шире волга стучится в днище
где-то здесь жили-были наши прабабки нищие
а над рекою вотчина десять саженей пашня
домики заколочены выйти на берег страшно
в небе играет солнышко жарит верхушки ёлок
громко бормочет колокол руки съедает щёлок
русь ты моя болотная жирная кровь ярёная
не проплыви на лодочке мимо меня ерёма

ЗОЛОТОЕ ИГРИСТОЕ

хочешь и корчишься от радости, не от боли,
высохла корюшка корнем в саду магнолий,
там, где на ветках русалка сидела беглая –
на табуретку спрыгнула, стала белкою.
все кто встречал её – булкой кормили, сдобою.
не помешалась в проём дверной, стала доброю –
город прикрыла рыхим хвостом и пристань.
не оставляй на потом золотое игристое:
пей до дна – за меня и за нашу осень!
благостно зазвенят за окном сорок сосен
и полетят на юга журавли, гуси-лебеди.
сердце твоё нуга, а душа твоя – хлебец.

Роман Круглов /Санкт-Петербург/

КОНЬ

На дареном коне
Обскакав дурakov,
Понимаешь вполне,
Как еще далеко
До глубокого слова,
До поступка большого,
До всего, за что стоит стареть...
И вдруг стала не нужной
Простая победа,
Но твой конь – из конюшни
Царя Диомеда –
Ему в зубы не стоит смотреть.
А другие с мечтами
Своими расстались,
Со своими конями
Хромыми срастались.
Сами стали питаться травой,
Нулевой мировой муравой.
А тебе был дарован
Особенный конь,
Он солидно подкован
Во всем, что ни тронь.
Под копытами мечутся
горнии молнии!..

Но твой конь человеческим

ГОЛОСОМ МОЛВИЛ:

«Ты придумал меня —

я лишь тень от коня.

Нет подков, нет копыт, ты бежишь босиком

И при этом прищелкиваешь языком.

На губах твоих пена, и глядя в простор,

Ты бежишь, пальцы в ребра вонзив вместо шпор!

А в мозгах твоих ветер

Свистит все сильней!

Не бывает на свете

Особых коней.

Я — забитая в голову в детстве фигня...

Только ты ведь никто без меня».

Бейся лбом в небеса, трепыхайся, гори

Свету белому усиком черным грози,

А закончатся силы — ты лапкой скребись

И таращь свои жадные бусинки в высь...

Эти крылья, что не донесли к небесам,

Станут огненной книжечкою между рам.

Мы разошлись бесповоротно,
И каждый в сторону свою.
Я помню многое подробно
И в глубине осознаю,

Что я — осколок Атлантиды —
Не поврежденным затонул.
Нагая грудь кариатиды
Не тешит аппетит акул,

Глядит конёк остекленело
В колонн порядок боевой
И рыбе-клоуну нет дела
До колизея моего.

В своих ракушках поголовно
Сидят морские гребешки —
Холоднокровны хладнокровно
Немые жители мои.

Зато прекрасного не тронет
Теперешний земной режим,
А там осталось, что не тонет.
Что на поверхности лежит.

Власта Власенко /Івано-Франківськ/

Любовь Шереметьєва /Черкаси/

Вірші Власти Власенко у перекладах

Любові Шереметевої на російську мову.

Стихи Власти Власенко в переводе

Любови Шереметьевой на русский язык.

який же птах у мені жив,
як та душа мостила гнізда,
аби він був, аби світив,
аби не рано, би не пізно...
як же співав і як цвіла
веселка радо наді мною...
...він озирнувся з-під крила
і пролетів над головою.

.....

какая же птица во мне жила,
как же душа вила ей гнёзда,
чтоб она светила, чтобы была,
чтобы не рано и чтоб не поздно...
и как же пела и как цвела
радуга радости надо мною...
... лишь оглянулась из-под крыла
и пролетела над головою.

в порожньому місті сто тисяч порожніх стін,
хто будував їх, хто їм казав стояти?

рівно вполудні зникне від тіні тінь
і рівно на північ ти скажеш – пора вмирати
високо-високо... крила вздовж голих ніг –
і вниз!

і мовчи!

і в спузу!

мокра до нитки!!

Боже мій, Боже, нашо-с ми дав, як гріх,
нявчине серце з зеленої, Боже, мнєтки?
а як давав-ис, то було давати ще,
ще, аби-м стала травою і заросла у нетрі!..
...порожнеча з вікон мого будинку тече,
будинку, збудованого на Етні.

.....

в опустошенном городе сто тысяч пустующих стен,
кто, кто построил их, кто стоять приказал им?

а ровно в полдень исчезнет от тени тень
и ровно в полночь ты скажешь – пора, умираем
высОко-высОко... крылья вдоль голых ног –
и вниз!

и молчи!

и в пепел!

и в ливень студеный!!

Боже мой, Боже, зачем для меня приберёг
мавкино сердце из мяты тёмно-зелёной?
а если уж дал мне его, то уж дал бы ещё,
чтобы я стала травой, вплетённою в заросли эти!..
...пустота из окошек моего дома течёт,
дома, построенного на Этне.

теплі руки та ніжний шовк та глибокий жест,
не по силі мені від душі відривати рай,
гострим словом твоїм забивала себе навхрест,
ніжним зором твоїм загортала у собі грань,
снів не бачу, душі не чую, гарячий лоб,
час не дихає, час не диші, його нема
я забилася в себе, в кут, і молюся, щоб
обійшла тебе порожнеча і ця зима
обминула тебе стороною та обійшла б
тебе ранішня згіркла довга по ночі путь...
наших рук відображення ломляться в дзеркала,
не по силі мені ця свобода через «забудь»
не суди мене, не вини, не така я, ну не така
в товірі вод, серед біл та чудних золотих божеств...
снів не бачу, душі не чую, тече ріка
в теплі руки та в ніжний шовк та в глибокий жест...

.....

тёплые руки да нежный шёлк да глубокий жест,
не по силам мне от души отрывать тот рай
острым словом твоим забивала себя накрест,
нежным взором твоим заворачивала в себе грань,
снов не вижу, души не чую, горячий лоб,
время вовсе не дышит, его здесь нет, я совсем сама
я забилася в себя, в уголок, помолиться чтоб
обошла тебя пустота и эта зима
обогнула бы стороною да замела
снегом ранний прогорклый и долгий по ночи путь...
наших рук отражения ломятся в зеркала,
не по силам мне эта свобода через «забудь»
не суди меня, не вини, не такая я, не легка

в толще вод, среди бед и чудных золотых божеств...
снов не вижу, души не чую, течёт река
в теплые руки да в нежный щёлк да в глубокий жест...

а тепер все мені прощається,
ніч згортається колачем,
може, вперше так засинається
заримовано під дощем.
давні мрії здуріли й збудуться,
підуть ходором дивні сни,
ще до півночі перебудуться
і забудуться до весни.
кожен гріх, як горіх розколотий
і рознесений в пух і прах,
одягнутись чи що... у золото,
походити у шалянках...
любо ж дорого в сердце глянути,
хоч від світа пусте й сліпе,
щось там в ньому дається гладити
і кошлатитися, і сопе,
і тому все йому прощається
від Великодня до Різдва...
ходить кіт по вікні, змеркається,
і збирається на дива...

.....

а теперь мне всё-всё прощается,
ночь сворачивается калачом,
мне впервые так засыпается
зарифмовано под дождём.
все мечты мои сдуру сбудутся,
ходят ходором чудо-сны,
до полуночи перебудутся
и забудутся до весны.
каждый грех, как орех расколотый
разнесённый и в пух и в прах,
нарядиться мне что ли... в золото,
в юбки в ярких шальных цветах...
любо ж дорого в сердце глянуть
хоть от света его слепит,
что-то в нем даётся погладить
и лохматится, и сопит,
оттого ему всё прощается
от Великодня до Рождества...
ходит кот по окну, смеркается,
всё готовится к чудесам...

і поставлю на камінь
всі мечі, всі шаблі, всі ножі,
всі слова,
і притихнуть дощі
з того боку вікна,
з того боку душі,
угорі,
де ще блимає світло скрипучого ліхтаря,
завішеного на ребрі...
..і піду,
два мовчання схрестивши впритул,
минаючи війни порохових скульптур
в кам'яному саду,
з кожним кроком вбиваючи в собі одного раба
і одного суддю,
і одного вождя,
і один ешафот,
я дивитимусь як рівнішають тіні від мого горба
і як мене покидає цілуючий Іскаріот.

.....

и поставлю на камень
все мечи, сабли все, все ножи,
все слова,
и притихнут дожди
там, снаружи окна,
там, в глубинах души,
в вышине,
где мерцает еще во мне свет скрипучего фонаря,
приподвешенного на ребре...
...и пойду,

два молчанья скрестивши впритык,
мимо войн статуй пороховых
в окаменелом саду,

с каждым шагом убивая в себе одного раба
и одного судью,
и одного вождя,
и один эшафот,
я увижу как выпрямляются тени от моего горба
и как меня покидает целующий Искариот.

тут і зараз.
бо там і потім –
це втрачені тут і зараз
спроби на правду,
тому без всяких там спецефектів, терактів у собі
давай собі раду
просто і рівно, і май на увазі – ніхто не чує,
ніхто не дивиться,
не аплодує,
не голосує,
не каменує
в кров...
...ну і вгамуй, нарешті, цей концерт в голові
про велику любов
з душевного голоду,
бо в головній ролі – життя,
а не пересипання сміття
з голови в голову,
і не затяжні нарікання,
слухай свій видих і вдих –

ось твої красоти і розкошування,
бо на перехресті волі і догми,
і кількох куценьких щасть
дав тобі хтось кавалок дороги
і нічого іншого вже не дасть,
тому йди і радій
снігу, сміху, людям, вітру, зимі,
радій,
щоб вкінці
мати чим засвітитися у пітьмі.

.....

здесь и сейчас.
ибо там и потом —
это утраченные здесь и сейчас
пробы на правду,
сверки с судьбой,
потому без всяких в себе спецэффектов, террактов
владей собой
просто и ровно, и имей в виду — никто не слышит,
никто не смотрит,
не аплодирует,
не голосует
и не опишет,
и не разобьёт камнем
в кровь...
... ну и уйми, в итоге, этот концерт в голове
про большую любовь
от душевного голода,
так как в главной-то роли — жизнь,
а не пересыпание лжи
из головы в голову,
не затяжные упрёки судьбе,

слушай свой выдох и вдох
верь себе –
вот твоя красота и роскошь
это всё – просиши или не просиши –
ибо на перекрёстке воли и догмы
и нескольких куценьких счастий
дал тебе кто-то краюху дороги
и ничего другого не дастся,
поэтому радуйся и иди,
радуйся снегу, смеху, людям, зиме,
радуйся,
чтобы в конце пути
было чем засветиться во тьме.

тихо, слова...
всі філософії збилися в зграю і пролетіли мимо...
чуєш? вовтужиться корінь в землі
і набухає трава,
і росте, і так нетерпимо,
бо знаюча, бо жива,
бо що їй до того,
що в тобі розсілися смутки, плачі і печалі –
в неї на шиї срібляться рапманські коралі
і танцюють у ній божества,
бо над нею місяць високо
і дивиться так, що у стеблах дуріє кров,
і соки зелені, як ріки, а ріки, як соки
течуть і течуть, витікають, вертаються знов,
і крутиться коло, відсвічує сонце на тінь ворожбита,
на місячну кістку,
цілуй мене, каже, траво несамовита,
беру тебе за невістку...

...і що їм усім до того, що люди понурі
зорали сумними очима усю свою глину,
що їхнє коріння вовтузиться в їхній зажурі
і тягне їх душі
в долину,
в долину...
ну що їм до того...
з них злизує місячне сяйво розгойдане гілля,
їм латкають білі сороки і грають дерева
рахманське весілля,
злітаються квіти на трави, в тумани
у річку молочну,
а потім над ранок приходять на першу всеночну,
знімають корали
і тихо шепочуть,
і може, як схочуть, замовлять і наші печалі...

.....

тихо, слова...

все філософии сбились в стаю и пролетели мимо...
слышишь? то возится корень в земле
и набухает трава,
и растёт, и так нестерпимо,
чуяет, ведает, что жива.
...и что ей до того,
что расселись в тебе грусть, и плач, и печали —
ведь на шее её серебрятся кораллы
и танцуют в душе божества,
а над нею месяц высоко
смотрит так, что в стеблях задурманилась кровь,
и зелёные соки, как реки, а реки, как соки
текут, вытекают и возвращаются вновь,
и вертится круг, солнца луч отсылая к теням ворожея,

к лунному бубну и колокольцам челесты,
целуй меня, просит траву,
и она, захмелев, хорошеет,
беру тебя, молвят, в невесты...

...и что, что им всем до того, что люди унылы
изрыли печалью очей всю родимую глину,
что корни их возятся в их гореванье и пыли
и тянет их души
в долину,
в долину...

...ну что до того им...

сиянья луны пригубивши, качаются ветви,
трещат белобоки-сороки, играют деревья
рахманскую свадьбу до света,
цветы прилетают на травы
сквозь речку туманов молочных,
к рассвету.

а после, к утру, приустав от брожений всенощных,
стихают, снимают кораллы
и шепчутся тихо,
и может, как лихо, зашепчут и наши печали...



Александр РЫТОВ /Москва/

ЖИЗНЬ ИЗДАЛЕКА

БРОЖУ ВЕСЬ МАРТ...

Брожу весь март, сижу в библиотеках монастырских, и опять перечитываю книги старые.

Ведь никому не нужен в мире этот ни я, ни эти книги.

Мы лишь друг другу так необходимы, чтобы прошлое не потерять.

О, как прекрасен запах старых книг, когда впервые за десятки лет страницу первую откроешь.

Одно из удовольствий археолога-героя
впитать в глаза и сердце навсегда
размеренное чистое былое.

ПОДСЛУШАННЫЙ РАССКАЗ ШКОЛЬНИЦЫ

На станции купила все, что просила мама.

Так получилось, что расплатилась точь-в-точь, без сдачи.

Приехала, нашла несколько дохлых мышей на даче,
ржавый замок от взорванного в тридцатые храма.

А потом приехал дедушка, директор школы,
похожий на профессора Паганеля.

И мы собирали листья желтые вдоль забора
и в полный голос весь вечер пели.

У почты в сумерках сидит дисциплинированная кошка.
Доносятся с бульвара звуки музыки,
зачитывают приветственные тексты.
Второе лето сладко погружаюсь
в узор из ласточек и в музыку военного оркестра.

Шел по проспекту вдаль фонарную-невозвратную,
и мне казалось, что все прохожие
на баррикадах с утра толкуются,
и я решил занять оборону в районе площади Конституции
и превратиться во что-нибудь самоходное-безоткатное.

Судя по письмам, ты провела это лето отчаянно, в попыхах,
не нуждаясь ни в идолах, ни в скарабеях.
А я болтался по маленьким морским музеям
на жарких греческих островах
в окружении каракатиц, вина и мидий.
Ничего не запомнил кроме диплома помощника капитана,
выданного Ставросу Эфриди.

Вдруг что-то кажущееся близким и недавним
становится таким далеким,
при этом состоявшимся и гармоничным.
И на короткий миг ты представляешь,
как время упаковывает день сегодняшний
без суеты и надоедливого звука
в прозрачный сверток сна и ностальгии,
в семейный сувенир для внуков.

Видимо был я кому-то нужен,
коль прорывался к большой реке
сквозь дождь библейский,
сквозь грязь и лужи
на старом колхозном грузовике.
Рычал мой ржавый металлом,
жрал землю, воду черную, подлетая
на кочках влажных, куда веслом
гнала нас женщина молодая.

Жить бы в захолустном городишке,
в старом кирпичном доме на холме,
над широкой ницей рекой,
чтобы пахло внутри нафталином,
чтобы солнечные лучи
спотыкались о треснувшие по диагонали стекла,
чтобы кирпичи царапали тени бредущих мимо.

Я ждал бы-встречал-снова ждал,
ночевал бы у воды, у шпал
среди маршрутов и потоков,
порою невидимых, порою зримых,
различал бы приближение чье-то
и чье-то движение мимо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХАОС

Куплю квартиру в Терми или Перистера –
к Салоникам поближе.
И скроюсь в пыльной дымке книжной,
чтобы достойно встретить смерть на склоне лет.
У местного старьевщика куплю библиотеку,
заполню книгами ее со стенограммами бесед
великих Киссинджера и Мао,
чтоб их читать, читать без пауз.
И это будет лучший фон
для превращения в ион,
для возвращения в хаос.

МЕЖДУ 2 И 4

Уроки фортепиано на четвертом этаже.
Бах оживает, сопровождая музыкой воспоминания.
А на втором этаже собака воет постоянно, без пауз.
Родившаяся слепой, она во мгле и во власти страха.
Такие же чувства иногда посещали
Иоганна Себастьяна Баха.
Теперь их дуэт вечерний — концерт для меня одного.
Наполнен музыкой старый дом,
собака воет на всем втором,
с четвертого ей подпевает Бах,
реагирую нервно на звук и взмах,
зажатый меж полом и потолком.

Андрей Дмитриев /Нижний Новгород/

ОСТОВ КИТА

Один, отче. Стоп.
Ад и иночество стоп.
Сто лет одиночества –
прокручиваешь так и сяк,
а всё шиворот-навыворот.
Кого-то однажды нашли в яслях,
чтобы был хоть какой-нибудь выбор.
Вот и гляди на звезду.
Ходи по вотчине сов.
Из Орды – ночью, пока не усоп.
Сто лет одиночества –
и для Сизифа срок,
а для тех, кто не в гору – подавно.
Звезда подмигнула –
то ли к морозу, то ли к завещанному звездопаду,
что отзовётся вселенским гулом...

А дни – короче. Исход.
Аттила хочет свор.
Сто лет одиночества –
стул у окна.
Снега хруст на ложе –
на прокрустовом ложе.
А звезда – по-прежнему высока
над этой землёй исхоженной...

Развивая Драгомощенко и Целана,
можно долго снимать эту щедру
с новогоднего апельсина,
оставаясь как бы уместным
на празднике современности...
Мы вышли в стылый подъезд,
где ничего, кроме обшарпанных стен,
обсыпавшейся штукатурки
с письменами былых племён,
где гул батарей и труб
перекрывает разве что лифтом,
курсирующим по вертикали —
между небом и землёй,
ограниченными чердаком и подвалом.

Здесь нет запаха апельсина
и порезанных в плошки салатов —
слишком много дверей,
за которыми тоже есть жизнь,
а, может быть, смерть —
со своей аурой быта,
слишком много пыльных пространств,
где бывать и швабре-то недосуг.
Здесь бездомная кошка
трётся боками о ноги,
и, видимо, тусклая лампочка
получает вот так электричество...

Здесь можно поговорить,
не стараясь перекричать
и не прося сделать музыку тише.
Считая ступеньки

на лестничной клетке,
не думай о критериях шага —
просто ступай вверх или вниз.
Не надейся, что нас позовут
обратно в квартиру —
там свои разговоры,
там ждут каких-то гостей
спешащих из аэропорта.

Лучше давай
вспомним нашу любимую песню,
ведь, целую вечность уже
не пели в подъездах,
а потом украдкой
начнём целоваться,
как хмельные подростки...

Есть люди-космосы,
есть люди-термосы,
есть люди-полосы
и есть люди-ребусы...
У одного — из-под шапки огонь,
у другого — дым,
у третьего — прядь. Кругом —
какие-то люди. Их следы —
тут и там. Вот стоишь на углу,
а мимо — человек-слон
и человек-кенгуру,
или вон —
за стеклом окна —
человек-рыба.

У одного жена —
колонна из Древнего Рима,
у другого — яблоко,
падающее на темя
в момент тяглового
осмысление места и времени...

Ребёнок-петарда —
громок и ярок,
ребёнок-лаванда —
растёт, как подарок
флоры. Ребёнок-бабочка —
беспечен и лёгок на взлёт.
Дети вершат играючи
вновь наступивший год.

У человека-амфибии —
есть писатель Беляев.
Человек-паук — всеми фибрами
паучьей души любит вторую часть мая,
когда появляется смысл
у ловчих сетей,
и с человеком-редисом
высажен человек-сельдерей
на грядках общественных институтов.
Всё смешалось в доме Облонских
в эпидцентре стола, где позякивает посуда
после очередного тоста.

Есть люди-орнаменты,
есть люди-буквы —
вращают их и разгоняют коллайдеры
по актуальным орбитам науки
до скорости света,
но — бац — и ноль по фазе.
«Крепитесь, люди, скоро лето», —
снова мурлычет разум...

Евгения Изварина /Екатеринбург/

отпустят руки — обнимут волны
гибельные, с ветерком
все их улыбки поименованы
в книге — той, где над рыбаком
рыбы смеются, по их просьбе
фонарик поставлен на корму

бог сохраняет всё, что после
бога не нужно никому

первое слово в общей сгорит мольбе
у второго слова одно — будто два лица

там ты старше себя, и река сама по себе
под локти подхватывает пловца
и второе дыхание — мёд по устам воды
всякий пил бы да целовал

лишь бы тот же и присно над нами на все лады
синих молний потрескивал сеновал

как жили
довеском
в подмену копеек
и споришь – да не с кем
и тонешь – а берег
не раньше, чем вскоре
во мгле заоконной
откроется море
другой, незнакомой
сторонкой медали
чем горше, чем шире
надёжней, чем ждали
дешевле
чем жили

бешено
со смешком

здесь ешё
или там ты

благослови в шторм
бумажные карты

благодари штиль
за беспечность и за угрозу

розу ветров пришиль
бумажную розу

золотой январь голубей пасёт
грозовой июнь в туеске гремит
человек что и взял — не донесёт
выронит и не повторит
о земле знамения, письма ввысь
не успевая перечесть

как, судьба, ни повернись
всё хорошо
ты — есть

...голубя жаль, пожеланья «всего-всего»;
встречи на узком перроне, и вновь с него
проводы, годы — на ветер, метущий хлам;
что ешё было? — треснула пополам
яблоня-память, мир, как созревший плод,
падал на дно, единственный мореход
стыл под открытым небом, комета пожар
с палубы видел, голубя провожал...

Майка Лунёвская /Тамбов/

человек не вырастает
напиши на лбу
ветер дерево листает
до зелёных букв

ветер дерево листает
прописи пусты
из деревьев вырастают
доски и кресты

Облако, дерево, сад.
Дети. Сестра и я.
Вниз головой висят
вишни. У воробья

косточки вместо глаз.
Птичка в моих руках,
не улетай сейчас,
не умирай пока.

Вадим Муратханов /Москва/

СОВРЕМЕННАЯ УЗБЕКСКАЯ ПОЭЗИЯ

Перевод с узбекского Вадима Муратханова

От переводчика

В 90-х и «нулевых» взошла целая поросль узбекских поэтов, в творчестве которых удивительным образом сочетаются традиция и модернизм. Это могут быть, например, медитации, восходящие к суфийским практикам, опирающиеся на поэтику Джалаляддина Руми и его последователей. Это могут быть и жанровые стихи – например, о любви, о разлуке с возлюбленной, о тоске по дому, – но система образов, да и формальное устройство этих текстов далеки от канонов советской поэзии.

Узбекская поэзия на стыке веков оказалась одинаково открыта лучшим образцам как восточной, так и западной литературы. В поэтике узбекских авторов можно обнаружить влияние текстов Назыма Хикмета, Уолта Уитмена, Роберта Фроста... Отдельно стоит отметить творческое наследие Рауфа Парфи (1943-2005) – классика новой узбекской поэзии, которого многие младшие современники называют своим учителем.

Рауф Парфи

Соберусь, отправлюсь однажды в путь.
Будешь сидеть у окна с утра,
оцепененье не в силах стряхнуть,
мысли, как четки, перебирать.

Вновь и вновь исполненный боли взгляд
застывшую улицу будет пронзать,
требуя взятое ею назад.
Но потерю придется тебе признать.

Слезы высохнут. Станут в окне видней
вдоль пустынной дороги карагачи.
Жизнь отнимет меня в один из дней –
смерть обратно тебе вручит.

Просыпайся, родная, пойдем скорей!
В раскаленных льдах будем сердце греть,
По горящей реке поплыvем вдвоем –
Лишь отсюда давай поскорей уйдем.
Далыше, далыше, в неведомые края!
Не оглядывайся, любовь моя.
Посмотри, как ярко горит звезда –
Светлый луг... но нам далыше, в иную даль.
Я эмир. Я тебе целый мир отдам.
Я и нищий. Внимай же моим словам.

Бог мой! Открой глаза и взгляни:
На безмолвном мазаре шевелятся сумерки.
На голой равнине чей-то призрак возник.

Духи желтеют среди могил.
Вот один — он в воздухе, как комар,
При жизни виться-вертеться любил,
Пожиратель гнилья, детских снов кошмар.

Кто мне грудь ногами мнет, возомнив,
Что собрание мертвых его спасет?
Прощай, коловший глаза песок,
Прощай, заунывный, бесконечный мотив,
Прощай, обреченный страдать народ.
Мой голос под толцей стихов затих.

Алиджан Сафаров

ТОМЛЕНИЕ

Расцветает томление — для души амулет.
Где-то ангел смущенный к надежде приник.
Сердце вздрогнуло болью — от любимой привет
Мотылек легкокрылый мне принес в этот миг.

Грезы, чистые грезы... Лишь один их глоток
Привкус счастья подарит в безумной тоске.
Так на запах влекущий летит мотылек,
Чтобы имя любимой начертать на цветке.
О, коварного мира вечно юный цветок!..

Глядя вокруг
Все различаю
Но вижу ли?

Шире глаза раскрываю
О небеса!
Белый свет моих сновидений
Исчезает на дне зрачка

Взгляду светом своим не рассеять
Мрака –
Притупленных привычных страданий

Вновь и вновь суждено поглощать глазам
Только то, что лежит на поверхности

БЕЛГИ

одинокой лампы колеблется свет
в черных волнах теряя дрожащий след

вырастает корабль в ночи горой
странный мир вокруг нет не станет мной

на какое сердце в расчете на чай
размер страдание вяжет качель

что за шум за шорох тревожит впотьмах —
вздох волны крыла невидимый взмах

или галька звездам вверяет боль
нет всего лишь звуки в ночи бог с тобой

одинокой лампы колеблется свет
в черных волнах теряя дрожащий след...

Ты этот вечер отпусти, ты отступись
от этих сумерек, закрой глаза, окно.
Увянет облако, умолкнет пенье птиц.
Пыль серебром на крышу ляжет, как на дно.

На фото девушка — вот все, что сохранил?
С деревьев до срока осыпается листва.
Оставь в покое этот вечер, не держись...
И ты когда-нибудь,
и ты в один из дней...

Фахриёр

ВЕСЕННЯЯ РАЗЛУКА

Ты зачем прилетела сюда, сова,
в этот свет дневной, в этот мир живой?
То, что ищешь ты, здесь найдешь едва ли.
Не моргай надо мной, не крути головой.

(В руку сердце свое беру...)

Всё в цвету — видишь? — осени нет и следа.
Ни заброшенных стен, ни развалин здесь.
Ты ошиблась, птица, ты не туда
принесла на крыльях дурную весть.

(Прячу сердце свое за спиной...)

Руки мои пусты.

На этих руках
хотел поднять тебя над головой.

Теперь и к лицу поднести их
не в силах.

Тяжесть пустых рук...

Вафо Файзуллах

ШАРА-БАРА

Правит дядя Кувонч скрипучей арбой,
Продает он время себе в убыток.
Мальчишки встречают его гурьбой,
Глиняные свистульки — взамен бутылок.

Так кричат, что звуку негде упасть.
Ни одно желание без ответа
Не останется. Скоро придет их час
Грамоту колеса и музыку ветра

Изучать, покидая родной кишлак.
В золотую арбу запряжено солнце.
Слезы скрыты в лежащих на дне мешках.
Безымянная песня едва доносится.

«Я шара-бара люблю очень-очень,
Пусть скрипит арба и звенят бутылки».
Провожает взглядом дядя Кувонч
Убегающих стриженые затылки.

Аюна /Москва/

ЯКУТСКОЕ

мне кажется что я оторванная тень
горы чочурмуран
и в венах у меня холодной лены плеск
мне кажется я есть
лишь отраженье мест
в которых родилась
когда меня убьет безумная москва
вернется тень туда
где солнце землю ест
где льет кумыс на лес
прозрачная луна
где в золотой тайге
дух золотой медведь

ЦАРСТВО

между таволгой и зверобоем
тропинка
тропинка
между полынью ромашкой
потеряешься в полдень
очнешься в полдень
с неизвестной кровью
чужими глазами
другого царства

бабочкам крылья ткут
светлые феи любви

в тонких шелках волос
в медленных взмахах ресниц
бабочек солнечных пыль

в теплых течениях губ
светлых теней прилив

ИЮЛЬСКОЙ НОЧЬЮ

июльской ночью
медленно и плавно
танцуют липы,
шлейфы их теней
трепещут тихо,
теплый ветер
лениво
расправляет складки
слегка посеребрённые
луной

НА ЗАКАТЕ

в час
когда солнце уходит за горизонт
тени сказанных слов
вырастают
становятся слов длиннее

камни стирали тени
тени чертили камни
берег моих сновидений
тихо менял очертанья
волны причин и следствий
бились о берег плавно
волны листвы летящей
цвет изменяли обратно
с желтого на зелёный
дней и ночей законы
цепью звенели в звездах
в стены смывая камни
в камни сминая стены
сколько себя искало
столько в конце исчезло

ЗАЧЕМ

и когда ты спрашиваешь зачем ты живешь
у меня нет ответа на твой вопрос
и на ум приходит лишь теплый дождь
и тогда говорю что возможно бог
пожелал чтобы ты отыскал его

я вижу как текут
лавандовые дни
в глазах младенцев тех,
чье роднички еще
не отвердели.. им
еще поют моря
дельфиновые песни
и звёзды шепчут сквозь
невидимую щель
вселенной

Владимир Спектор /Луганск – Баг-Зоден/

«Натюрлих», Савва Игнатьевич,
«Розамунда» плачет, смеясь.
Маргарита Павловна, увы...
Меж количеством и качеством
Нарушена временно связь.
Куда ни глянешь – «рука Москвы»...

Савва Игнатьевич, «фюнф минут»!
Мы идём из войны в войну.
«Не для радости жить нам». Ну, что ж...
Горько там, и не сладко нам тут –
На пути из страны в страну.
Только ты, друг, как прежде, хорош.

Даже когда «с утра – за дрель».
А помнишь – перитонит...
Снова средства нелепы, как цель.
Савва, это душа болит.

По дороге, ведущей от детства
И далее в вечность
Три судьбы друг за дружкой
идут себе неторопливо.
Разговоры ведут бесконечно,
беспечно, сердечно,
Вспоминая мотивы, стихи,
даже локомотивы...

Три судьбы, и у каждой свой цвет,
свои вкусы и память.
У одной, краснозвездной, — идеи, любовь,
тепловозы...
У другой, желто-синей, — беда пополам
с торжествами.
А у третьей, трёхцветной, — вопросы, вопросы,
вопросы...

Всё смешалось, как в доме Облонских —
вопросы, ответы...
Три судьбы продолжают свой путь,
препинаясь негромко.
Песня спета — одна говорит. А другая —
не спета.
Ну, а третья всё ищет, куда постелить
мне соломку.

А вы из Луганска? Я тоже, я тоже...
И память по сердцу — морозом по коже,

Ну да, заводская труба не дымится.
Морщины на лицах. Границы, границы...

И прошлого тень возле касс на вокзале.
А помните Валю? Не помните Валю...

А всё-таки, помнить — большая удача.
И я вспоминаю. Не плачу и плачу.

Глаза закрываю — вот улица Даля,
Как с рифмами вместе по ней мы шагали.

Но пройденных улиц закрыта тетрадка.
Вам кажется, выпито всё, без остатка?

А я вот не знаю, и память тревожу...
А вы из Луганска? Я тоже. Я тоже.

И, в самом деле, всё могло быть хуже.
Мы живы, невзирая на эпоху.
И даже голубь, словно ангел, кружит,
Как будто подтверждая: «Всё — не плохо».

Хотя судьба ведёт свой счёт потерям,
Где голубь предстаёт воздушным змеем...
В то, что могло быть хуже — твёрдо верю.
А в лучшее мне верится труднее.

Ирина Котова /Воронеж/

ДОМОВИНА

отошедшие в горний путь отцы говорили —
по-деревенски гроб-домовина

в старые времена на чердаках
среди пучков сущеного укропа
среди боярышника ромашки чабреца
среди кореньев и грибов
среди вязанок лука и чеснока
среди банных берёзовых веников
как книги стопкой
стояли гробы разной длины —
по потребности
поди — прочитай их наперёд

в китае на важные шестьдесят лет
(пять раз по двенадцать)
дарят гроб —
скоро возвращение в дом

мой прадед
поставил гроб на чердак в сорок
не доверял
важное дело — не себе
в тот же год
в том гробу окотилась кошка
котята были
как пушистые сгустки радуги

если смерть пахнет свежими стружками —
так бывает

Сергей Теня́тников /о. Майорка/

НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР

он лежал в дальнем углу Земли,
будто за сценой, закрытый
театральным занавесом высокой травы.
они приходили к нему и говорили
на разных наречиях что-то о бытие
и сознании, о материи и смерти,
о жизни и забвении, о смысле и
ещё о чём-то таком, чего он не мог
понять. он лежал на Земле,
прислушиваясь к биению сердца,
и мысли его становились упругими
и сочными, точно рыбы в северной реке.
они ходили вокруг него и говорили,
и их быстрые голоса склеивали его губы.
так что, когда он изредка пытался
им ответить, он извергал изо рта
нечто нечленораздельное.
в испуге они разбегались, но вскоре
собирались вокруг него и ходили,
и говорили, что надо что-то делать,
а не лежать в густой траве и делать вид,
что бытиё и сознание, материя и смерть,
жизнь и забвение, смысл и бог тебя
не касаются. один из них попытался
подобраться ближе к его уху, чтобы
прокричать то, что лежачий никак
не мог взять в толк, но не удержался

и упал, поранив ему при этом мочку уха.
«ой!» – только и вскрикнул лежачий.
«что он сказал?» – спросили они. «кажется,
он сказал: строй!» – придя в себя,
произнёс упавший. и они строили ладно
и ловко. и к осени они построили муравейник
выше человеческого роста. а он все
лежал в пожелтевшей траве и листья
падали ему на лицо. он закрыл
глаза и увидел звёзды, и путь,
и столетия света, и тысячелетия тишины.

ОСТАНОВКА НА ЗЕМЛЕ

август, не торопясь, собирает в школу
детей, чьи рюкзаки и желудки за лето
опустели. сливы опадают на сухой асфальт,
где подошвы делают из них мармелад.
ремонт дороги затих, будто там взорвался снаряд.
в магазинной витрине отражается сентябрь.
продавщица укутывает потеплее манекены,
точно обитателей дома престарелых.
растолстевшие голуби прыгают с крыши –
верно, учитель пения из класса вышел.
прошлый век кончился. память и пиво не греют.
солнечный луч скребёт по щеке, не бреет.

ГЕРОЙ

о, великий царь Прометей,
сын Иапета и Климены,
всё предвидящий и разумеющий,
покровитель искусств и друг людей,
создавший их из глины.

о, бесстрашный титан Прометей,
защитник человечества от произвола богов,
принесший с олимпа огонь
и за то обрекший себя
на бесконечные страдания.

о, бессмертный мученик Прометей,
не стяжавший ни славы, ни власти,
не убивший ни одного чудовища или сына,
обучивший людей всем благам цивилизации
и казнённый за свою любовь к ним.

о, бедный бог Прометей,
во что превратился твой подвиг...
ты — всего лишь электрическая розетка
на стене квартиры, дарующая
мне свет в тёмное время суток.

ПАМЯТИ Е. А. Т.

напророчь мне судьбу, фрау речь;
выдай мне визу, заполни анкету.
я был рождён в розовом восемьдесят первом
(между замёрзшей землёй и известковым небом)
в городе, о котором ничего не знал.
и поэтому ничем не отличался
от остальных жителей ойкумены:
кидал камни в птиц, держал под языком монетку,
стоял на голове, бегал эстафету.
но как я от огромной реки ни гнал, она меня догоняла.
и в карем глазу противоположный берег
в заводском дыму рисовался тем светом.

я вырос в краю гулливерских сапог и беличьих
платиц, кочевал по пространству на ослице.
и солнце обжигало мою голову, как глину.
был голоден, но слишком молод, чтобы у меня за страну
что-то болело, которая сама себя трижды съела,
за её прошлое или настояще, будущее жевавшее.
ходил вместе со всеми по одним тропам, болел
за компанию гриппом, пил из кружки ржавую водку.
в восемнадцать сменил постельное бельё, шрифт и взору
милые лица. моя память сделалась чёрно-белой сепией.
и хотя я так и не научился молиться... я благодарю
тебя за то, что ты по своему образу
и подобию меня сотворила.

МОЙ ДОМ МОГ БЫ СТОЯТЬ ГДЕ-НИБУДЬ ЕЩЁ

мой дом мог бы стоять где-нибудь ещё.
в зеркале отражалось бы другое лицо,
в прихожей висело бы чужое пальто
и язык говорил бы «шо» вместо «чё».
моё я могло бы жить в ком-нибудь ещё,
во враче скорой помощи или в больном
головой, но падая в ожидающее Ничто,
я цеплялся бы всё равно за перила, как за плечо.

НЕИЗБРАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

как держит земля людей...
истоптанная живыми,
вымощенная мёртвыми,
исписанная цитатами
улиц и прозой ландшафта.

как держит полка книги...
потрёпанные переплёты,
плесень, пепел, пыль.
и, как полка без книг, Земля
без людей такая же плоская.

Сергей Арутюнов /Москва/

Когда доносится с полей
Пустого августа пыланье,
Как думать о земле своей,
Осмыслить, чем она была мне?
Здесь камень дерево рождал,
И буйный ветр буруны пенил,
И огненный катился шквал,
Селенья обращая в пепел,

Мотая нервы на кишки,
Имущи и великолепны,
Топтали утварь, книги жгли,
Служили долгие молебны,
И пред оплавленной лозой
Клялись изрубленной скотине:
Никто не минет алых зорь
При цесаре и господине.

Но в пляске круговых порук
Ещё мы здесь, ещё мы братья,
И зверством ли исчерпан круг
Служенья истине и правде?
Так, ни на год не повзрослев,
Ни шепелявый, ни картавый,
Не прерывается распев,
Что разрешается октавой.

Я некогда пространство понимал,
Как сбор простых трудяг, жестоких пьяниц,
Чиновничества, чей надменный глянец
Выковывал бессмертья номинал.

Я чтил фасадов пепельный акрил
Нагую копоть лёгочных артерий,
И облаков сияющий иттербий,
И как с людьми, с домами говорил.

...Лишь в детстве так бывает высока
Обязанность воспринимать явление,
И жизнь саму, как лежбище тюленье,
И взросłość, как утрату языка.

Теперь и вспомнить странно, почему
Я в юности имел обыкновенье
Не барный стул расшатывать в кофейне,
Но знать лишь то, что пальцем отчеркну.

И что я видел, кроме скучных пьес,
Детсадовской муштры, бетонных свалок,
Застолий нищих и гостей незваных,
Забора, что от старости облез?

О, пешая доступность! В два хлопка
От мусорного грохота оглохнув,
Я обонял раздельный сбор отходов
И поражался, как стена глуха.

И словно деревянная модель,
Истаивали в городских легендах
Мушиный рой держав иноплеменных
И яблоко империи моей.

Не оживать и не мертветь,
Когда январскими снегами
Крошится под ногами твердь,
Над головою возникая.

Тому, метели ледяней,
И разводная колобаха,
Кто различит во мгле теней
Иероглифику упадка —

Как исчислимо пёстр обём,
Что древле выкопан совками
Ходивших по воду с рублём,
А возвращавшихся с афгани,

Как немы дни, что, гомоня,
Намеренно врубили задний,
Как исчерпаемы моря
Осклизло бесполезных знаний,

...Когда к порядку встал едва,
Душе особенно тлетворна
Бессмысленная суэта
Бессмысленного углерода,

Но трижды будь его мертвей
Февраль, что во фрамугу стукнул,
Нетленны — стоицизм ветвей
И снегопад, вводящий в ступор.

Анна Цветкова /Луговая/

и даже печенье то сердечком все еще при мне
а ты не помнишь — что же за печенье
которое в кафе

я тоже сперва стеснялась голой при тебе
как ты — вот только позже
легко — ну что такого в наготе
всего лишь кожа

а прежде — отвернись переоденусь
ну вот — куда теперь я денусь

такое темное окно
до минуса серьезного похолодало
но сердце — оно уже ростком
и может слишком рано

но пробивается сквозь трещину в асфальте
куда же ты — простуда схватит

все настоящее — деревья и дома
дорога что кое-где и до асфальта
расплачусь почему-то — и сама
того не зная буду виноватой

в задетой ветке — мне же точно так
как ей — тревожно холодно и пусто
надену старенький пиджак
соленой похрущущей капустой

весь дни сгорают — насовсем
и ни один потом не станет снова
я трогаю тепло кирпичных стен
забыв единственное слово

которое вместило бы мяту клен
и как курю в дождь на балконе
(мне странно — с тобой везде был дом
вот это я упрямо помню)

смотрю на время — поздно или рано
не разберу никак
я путаюсь всегда в пододеяльниках

там на стене написано — дурак
и киса — вызываю лифт
мне просто на седьмой и запереться
и чувствовать лишь сердце что не врет

достаточно и пары слов
устану отвернусь к стене обои
с цветами
кошка подойдет

мне странно — что-то между нами
по-прежнему водой течет

ну что о смерти?
ну будет и будет — что теперь
ведь все когда-то умирали

прикрою дверь
и свет включу неслышный угловой
и лифт шумит за стенкой

ну — может хоть подумай обо мне
немного? и так засну я постепенно
засну котята снятся иногда
а иногда провал дыра

встаю ночами пью цитромон от боли
и если я — действительно — хоть что-то помню
твое отчаянное — не ешь меня глазами
да я не ела не ела я — а так — запоминала

я представляю все как — ты —
своими пальцами — вот это
тревожными сухими добрыми
и плачу

сейчас так сложно — дотронуться — не знаю
почему — мне — больно — отовсюду
пойду и душ приму
подумаю — но разве только чудом

ребенком думала что все не умирают
ребенком думала что это навсегда
земля деревья улицы трамваи

вода течет из крана — пресная вода

а может крекер а может мармелад
и кошка засыпает в кресле

(ей хватит — ты сказал тогда
я не могла доесть мы были вместе)

такая горечь но — так сладко
когда глаза закрою — там весна
и эта на рубашке складка
— твоей — ведь только после сна

все так отчетливо и запахи все эти
цветочные и даже пыль
и только то что – не бывает – третьего
хотя наверное он прежде – был

смотрю как отражается в окне растенье
зеленое – скучаю по стрижкам
мне кажется – еще успею
привыкнуть к голубым твоим глазам

которые и воздух этот и трамваи
и даже кошка бездомная – сама
теперь наверное неузнаваема
а может я и не права

все торопить весну – куда
ведь все равно она меня – не слышит
и ей – без разницы – что я больна

смотрю еще заснеженные крыши
и объявляют Катуар – и мимо Луговой
вот так и мы с тобой

стою на станции чужой и мерзну
здесь не мое все

курю – и так внутри боюсь
что вот отпустишь – и покачусь

древесная кора всегда тебя напоминает
дубы люблю я больше остального
железные деревья и листва
на них гораздо позже — чем на остальных

я не скажу тебе про боль про все на свете
я не скажу тебе плохого — ничего
сегодня ветра нет — а я не очень ветер
непостоянно это — и в окно

обычный воздух что совсем везде
пойду листну страничку новостей
чужие жизни мне — не интересны

устала включу-ка лучше песню
(яичницу пожарю и поставлю чай
за это ты мне все прощал)

храню зачем-то не пойму зачем
предметы эти — хотя я не люблю предметы
и ничего особенного не имею

стою на лестничной и греюсь о батарею
смотрю на тополя — да к черту их
ведь ты же — не вчера — возник
но все равно таращусь и таращусь

деревья знают что-то настояще
деревья жить умеют вопреки — зиме
вот бы и мне так вот бы и мне —

уйти корнями в чье-то сердце
и жить и жизнью этой — греться

ты под столом взял за руку — смутилась
не поняла — хочу на память фото
с тобой

мне хочется дышать весной
как пройдённым уже однажды
и я узнаю снова листик — каждый
и каждый переулок где — с тобой
где без тебя

и чтобы верхнюю одежду — снять
пить Фанту или Колу по дороге
и что-то про себя
все время повторять

так много и не много

то что не слышишь ты — но воробей
он веселее и понятней
плохого я — не помню — хоть убей
а помню мяту мяту мяту

Алёна Рычкова-Закаблуковская /Иркутск/

СОН ЛИ

начинаешь прилепляться к пустому
говоришь ему: сон мой
сонмы
то есть тьмы пролетают мимо
над цусимой ли хиросимой
только пёрышки опадают
белым ветром их выдувает
среди ночи сидишь растением
обхватив колени
думаешь сон ли сом ли царский
к нашему государству
по реке да по ухабам донным
уплывай по воде сон мой

ПРО СИНДБАДА

пушинка почтальон нечаянный посланец
проявленный мой бог неясный белый дух
меж двух полынных крон свершая тихий танец
в ладонь легко легла пером печальной рухх
наивно полагать но хочется представить
что между ними есть ближайшее родство
вот птичья тень скользит в окладах светлых ставен
и облачный фантом садится на крыльцо
что нам от птицы рухх пушинка лишь... не боле...
а ей таскать слонов кормить своих птенцов

синдбад мой нем и тих — в кораблике ладони
приносит лёгкий пух.. светло его лицо

МИМОЛЁТНОЕ

воспринимай меня облаком
легчайшего тополиного пуха
стой не дыша около
слухом лишь только слухом
запоминай движение:
стёклышко немудрящее
медленное скольжение
света переходящего

ПЕСЧИНКА

да будет свет который будет нить
и по нему нам плыть с тобой и плыть
на ивовом листе сухой былинке...
в сандалике закатная песчинка
от белых глин у дома твоего
она почти не значит ничего
и дом не дом и разговор поник
и только где-то бродит твой двойник
и перочинным ножиком скребёт
пустой надежды ноздреватый лёд
под ним блуждают царственный пескарь
с икринкой в брюхе горькая царица
когда бы слово вздумало родиться
перегорела б ночи кинов`арь
и к утру просветлели наши лица

МЯКИШ

всё теряется однажды и находится однажды
и теперь уже не важно ком ты был и ком ты стал
ты заходишь в скорый поезд словно в дом многоэтажный
остаются на причале главпочтamt сбербанк вокзал
ты теперь почтовый голубь каторжанская порода
белый войлок небосвода солнца плошка и т.д. —
вот она твоя удача вот она твоя свобода
так натягивает корду славный путь ВСЖД
ничего-то ты не знаешь.. просветлён и обезличен
словно в скорлупе яичной здесь в заснеженной глухи
я возьму тебя в ладони и по имени окликну
прилеплю как мякиш хлебный к полой дудочке души

МЯЧИК

оставляешь на берегу мальчика
запираешь в обережные круги
вот тебе удочка зайчик мой —
стереги
я пойду на звук неведомого гонга
по прибрежной полосе священного ганга
я сама себе тереза и ванга
время моё мяч для пинг понга
катится по камешкам звонко
прячется в густом тальнике
подойдёшь а там плоскодонка
бант в своём чреве ребёнка
с мячиком пинг понга в руке

Юлия Тишковская /Москва/

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

первый класс.

чтение, письмо, окружающий мир
обступили со всех сторон,
обложили рабочими тетрадями,
окружили.

выбери меня, говорят.

мы знаем твое будущее, мальчик

а кошке Роми под партой
не нужны правильные ответы,
не нужны звездочки-наклейки.
она держит лапки-кулачки без когтей,
чтоб ее маленький друг
вышел из этого окружения
без страшных ранений,
живой, свободный,
не боящийся быть красным трамваем
среди одинаковых иномарок

Роми, ты хочешь детского кофе?
Роми, ты съешь за меня этот суп?

кошки не плачут,
не выдают себя.
будут каникулы, Роми.
скоро будут каникулы

Господи, я — твой пудель.
ты кормил меня,
вычесывал блох,
покупал ошейник

я смотрел, как цветут города,
как умирают книги.
где попало не гадил

когда я вырос,
ты отпустил меня в космос —
безвоздушное пространство
принятия решений

стареет трансформаторная будка.
разноцветные шарики лопаются как почки

мы всегда будем бежать в твоей упряжке —
служебные, комнатные, ездовые

и на могиле этой собаки
тоже крест

это ж надо, какая досада.
где же самая верная шпаргалка,
за какой подкладкой,
в каком носке?
это ж еще в школе переучили всех правых.
что ж ты, как бабушка после инфаркта,

трясешься на простыне?
одеяло съехало,
а самой не поднять.
где медсестры твои, где твои медбратья?
лишь ординаторской ординарец гордый
поднимет капельницу на рейхстаг.
ты сдала весь генеральный штаб,
а имя свое не помнишь.
бабушка шепчет:
только не выключайте снов!
я в темноте без очков
ничего не вижу.
а палата ждет,
когда она наконец уснет,
и стоит, и дышит.
шпаргалку выстреливает рукав,
да не тот параграф.
бабушка, бабушка!
это не хрип, а храп.
она могла б
вообще ничего не сдавать,
не писать контрольных,
а сидеть возле учительского стола
и смотреть светло и спокойно

каждое утро апреля —
тоненький стук за окном.
дятел, наверное, дятел.
время его прилета.
дятел в шапочке красной
тихо стучит по утрам.
хочет кого-то спасти

или дорожный рабочий
где-то за домом соседним
нежно меняет асфальт.
старую корку сдирает —
новое дышит под ней.
милый дорожный рабочий.
чей-то восточный мужчина.
хочет кого-то спасти

сторож ли с погремушкой
ходит вокруг утра,
или седая хозяйка
мясо желает отбить
(мужу положено мясо)?
всё на земле словно дети
хочет кого-то спасти

дятел тревожные мысли
видит смешными жучками,
нашу кору излечил.
милый дорожный рабочий
бережно пласт открывает
чей-то новой души.

здравствуй, седая хозяйка
и молоток твой отбойный!
станем мы мягкими сразу,
чтоб было легче земле.
сторож проходит неспешно.
шутка ли — целое утро?
если не хватишься сразу,
так и забудешь совсем

каждые странные звуки,
каждые смелые тени,
все, что вокруг происходит,
люди, зверушки, деревья —
чтобы спасти человека

Серафим Введенский /уфа/

ЗНАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Знающий человек
вместо кофе пьет яблочный сок.
Не здороваются через порог.
Ест на завтрак хлеб с маслом
часто.
Жизнью доволен.
Счастлив.

Знающий человек
вместо «Парламента» курит «Казбек».
Хочет бросить
и взяться вплотную за утренний бег,
но знает наперёд –
этого никогда не произойдёт.
Он, как Григорий Александрович Печорин, – себе не врёт.

Знающий человек
смотрит новости краем глаза,
потому что у каждой новости есть свой спонсор показа.
Частенько любит повторять одну фразу:
«Бриллианты роскошь для бедных, элита носит стразы».

Знающий человек
имеет умиротворенный вид.
По обыкновению молчит.
Понимает полувзгляды,
полутона.

Любимое время года — весна,
особенно тёплые дни в мае.

Демагогию не разводит, в полемику не вступает,
потому что все равно не поймут,
хотя любые нюансы подвластны человеческому уму.

И не верит в рейтинги, не доверяет спискам;
Вчера ты царь царей — сегодня господин из Сан-Франциско.

P.S.

Мы как-то говорили с ним о быстротечности жизни
на берегу медленной реки
на рассвете.

Он слушал меня внимательно,
качал головой,
но так ничего и не ответил.

ОТРАВА

Циклоп за циклопа, что око за око.
Прекрасное к нам подобралось далёко
и как-то оно не прекрасно.

Мы пили цикорий, а нынче пьём мокко.
Ныряем в соцсети, питаемся током,
репостим, ретвитим Есенина с Блоком.
А лица на селфи несчастны.

Мы стали масштабны, подвижны, мобильны,
в онлайне могучи, на деле — субтильны.
Купаемся в лайках, как в ванне.
Мы пьём год за годом из общей поильни,
нам чешут за ухом, нас кормят обильно
смиренной похлебкой со страхом могильным,
чтоб мы не вставали с дивана.

Для нас волатильность важнее погоды.
Ушла человечность, остались погоны
и толпы тотально причастных.
Нам кажется вечно — за нами погоня.
Мы, словно рабы, отвечаем: «Вас понял!»
Мы в этой конюшне бесправные пони,
в своей немоте громогласны.

В ПИТЕРЕ ЖИТЬ

Я с дождём одновременно
шёл по Невскому проспекту.
Небо серое повсюду
затянуло лейся-песней —

это Питер. Здесь привычно
быть в гармонии с водою.
Мох на стенах, сырость, кашель.
В лужах город вверх ногами.

У истории под боком
продают шаверму с курой,
а культурой так и тянет
из распахнутых парадных.

Я с дождём одновременно
шёл по Невскому проспекту
и споткнувшись о поребрик
обозвал его бордюром.

Тут прервалось вдруг движенье
на меня толпа взглянула
и сочувственно сказала:
«Понаехала столица!»

Инна Домрачева /Екатеринбург/

Липкое дворовое арго
Склейивает челюсти ириской.
Плохо, что до мая далеко,
Плохо, что до марта очень близко.

Три коробки обуви спустя
Вновь на старт, внимание, по кедам!
Память расправляется, хрустя,
Грязным целлофановым пакетом.

И тебе везёт. Тебя везёт
В хляби и осоки безысходства.
Хочется придумать, будто всё
Обошлось.
Но нет.
Не обойдётся.

«А я люблю Пушкина», –
произнёс он спокойно.

6 июня,
под памятником в Литературном квартале,
в окружении людей,
интеллектуальных до интертекстуальности,
ожидаемо глянувших на него так,
будто он публично обделялся,
это прозвучало
с той выверенной долей наивности,
которая даже не маскирует
наглость.

Серафима Сапрыкина /Санкт-Петербург/

Матери ли отца ли
Не узнавать лица
Господи мы мерцаем
Обречены мерцать
Мы изучили свойства
Тяжкого полусна
В поле собралось войско
В поле трава пресна
В мире немонолитном
Нету тюрьмы, сумы
Вот тебе и молитва
Вот тебе и псалмы

Очевидное – это болезнь
Поразившая нас вдруг
Притворяется лесом лес
И цветы как один лгут

В только кажущийся момент
Наступает условный день
Бытие изошло на нет
Притворяясь небытием

И над нами не будет суда
Не судимо вовек Ничто
Я хотела бы знать когда
Это стало моей мечтой

Будет хлеще раз от раза
Во сто крат позорней
Скачет лихо одноглазо
Обло и озорно

Раздает всем по коврижкам
По серьгам, салям
Выдает себя за близких
Дальних отбирает

Вот и пусть
Пусть без возврата
От меня их гонит
Я люблю тебя как брата
Лихо дорогое

Паузы нападают
Не отогнать никак
Что ты, как неродная
Речь моя реченька
Дай безударной силы
Гласными причащай
Потусторонним курсивом

Вышней свои ча- ща-
Узел распутай строгий
Коим язык завязан
Зри, как листки некролога
Падают с ив и вязов
Рече мне, как отвлечь их
Как перекрыть мосты
Первым лазутчикам вечной
Близкой уже немоты

Внутри меня кромешный ров
Напитанный печалью
Вот так изъятое ребро
Кровило поначалу

Ещё до яблони, змеи
У древа стерегущей
Валяясь на клочке земли
Ненужной погремушкой

Та память зла и велика
Уснем как должно рядом
И повторяем по слогам
Пожалуйста не надо

Сколько их там в темноте
Знаешь же я о чем
Страшно смотреть на тех
Кто за моим плечом

Тронешь меня — молчат
Только плотней ряды
Ревность их так горяча
Что источает дым

это мои отцы
братья и сыновья
это мои мертвцы
оберегают меня

не берегут ничуть
не берегут совсем
я имена шепчу
в околосмертном сне

сергий мой николай
мой варлаам серафим
им меня не отдавай
не отдавай меня им



Александр В. Бубнов /Курск/

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОСВЯЩЕНИЯ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТИХИ АРСЕНИЮ И АНДРЕЮ ТАРКОВСКИМ

растите, сосны, ввысь,
полвека вам всего лишь,
вы время собираете в себе,
как воду в камень собирает
в пещерах,
в лабиринтах
сталактит

*«(…) захватанная книга,
вся в птичьих листерах,
в сосновой чешуе,
читать себя велит (...)»**

читаю-почитаю
эту новую жизнь,
этую весну,
этот хмель-апрель,
и будущий
смеющийся солнцем июнь,
и сами сосны —
поющие что-то важное
своими струнами,

и, наконец,
читающий всё небосвод,
но часто
ночами чуют...

«(...)
чуют жилами
(...) сосны
бешиних смол коченеющий лёд.

Знаю: новая роица встаёт
Там, где сосны кончаются наии.
(...)

(...) там, за оградой,
чей-нибудь завершается год.»*

как труден вопрос
обретенья утраты!..
не падайте, сосны,
на наши
палаты!..

когда-то,
в какой-то жизни иной,
или над жизнью,

палатка Андрея
смята была упавшей сосновой,
потревожившей только
Ангела,
Андрея спасшего...

сосны,
не падайте!..

постойте,
подождите,
подарите картину космоса,
которую каждый день
вы рисуете
не в суете –
кронами по небу
рисуете
под ветрами не-кrotкими,
которые кружат миры по-своему –
против движения планет,
по движению души,
вознесшейся из...
туда...
и оттуда читающей
нашу жизнь.

04.04.2017, в день 85-летия Андрея Тарковского, Курск. На месте съёмок фильма «Сегодня увольнения не будет», который снимали А.Тарковский и А.Гордон в 1958 году.

*текст, данный курсивом и/или в кавычках, – цитаты из стихотворений Арсения Тарковского.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТИХИ ДАВИДУ БУРЛЮКУ

вспомните,
как тонко
и точно
искусно поставленный на карту
источник,
как вставленный новый глаз
в глазницу земли,
камень видит
неповоротливый... и...
нет, не давит его,
но
взглядом
и слезою кристальной
точит,

в итоге
Давид
одолел голиафа —
великаны неповоротливых устоев,
то есть,
говоря иначе,
в воды мирового океана,
как в великую чашу
будущих новых идей и красок
бурлящих здесь и сейчас
нельзя войти...
дважды,
но однажды
войти вселенной обязаны
все,

все:
и
канатами
или тесёмочками традиций
повязанные се,
и
вперёд смотрящими названные се,
и всем дарованная
парящая в воздухе музыка,
и, наконец, о, Муза
с движениями в своём животе
ещё нерождённого груза
во всей своей новой
неодинокой
красе!..

22.07.2017

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТИХИ СЕРГЕЮ БИРЮКОВУ

«Ночная строка, ты оди-но-ка»
Сергей Бирюков

odi et amo-
ре-тро!..
тропы и троны слов
в прошлое и – из прошлого –
горьковатых, как amaretto,
но изысканно выискаанных –
впереди они или сзади? –
хитро-

сплетений судеб
неподсудных,
поданных на посуде
к столу? —
обеденному —
столику ресторанному —
с одиноким вином,
или письменному столу,
или рабочему компьютерному? —
с трапезой или письмом,
или «два в одном» —
или с особым месседжем —
джемом сладеньким утренним
или джем-сейшеном терпким вечерним,
(с) посланным нам всё тем же вином
или виноватыми нотками
с интервалами между столетиями —
с большими-пребольшими септимами!..
или
после трений и терний —
антисептиками?..
или-или...
илиили!..

СКОЛЬКО СТРОК
скороспелых,
но не напевных, —
поездами скорыми мчатся
огнями —
в снах —
ночами —
мимо нас!..

а что в начале?
в начале было...
тарарам-там-там где-то
ночью
без света
и даже аз – аб-солютно
без вселенной
в одиночии
и в печали?..
но не застыло!..
известно ведь!..

ведь не застыло
звёздно(е)-звездное
Слово – весть?!

ведь врасплох застало
салютом света
тарарам-там-там
где-то!..

...в горе ли,
на горе ли,
в Ра-дости...
в море ли,
в огороде,
во лесу ли...
лепим ли,
пилим ли
илиады

или оды, –
линия-таки одинока,

но и
бытийно-витийно въётся —
невыносимо легка —
линия света — лучизма? —
леска ли удилища
слов речи
в речке линии-однострока?! —

любим ли,
не на...
видим ли —

amo et
odi, но —
Ka!..

10.08.2017

НЕОБХОДИМОЕ АВТОРСКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Попытка определения: Интегральные стихи (ИС) (термин автора) — особый стиль стихосложения, основанный на концентрации смыслов-аллюзий, на объединении (интеграции) в одну форму и в один «дух» многих техник и «стратегий», без особого преобладания какой-то из них в конкретном сочинении, при стремлении к балансу между тотальной звукописью и пренебрежением к ней, ясным смыслом и затемнённой заумью, регулярным и «гуляющим» ритмом, рифмой и безрифменностью и т.п., однако при стремлении к новому типу стиха с «необщим выражением» своего «лица». К философии интегрального стиха в некоторой мере приближается т.н. «гетероморфный стих». В целом, ИС «пунктирно» встречался и встречается в отдельных опытах отдельных авторов.

Надя Делаланд /Москва/

Ребенок с возрастом перестает нудить,
требовать, чтобы ему уступили место в маршрутке,
понимает, что мамы нету, что он один,
что она умерла, что какие шутки.
Вот он едет растерянный и седой,
в старом потертом пальто, с незастегнутой сумкой,
совершенно такой же уже, как до
обретения им рассудка.

Мерцающее утро. Долгий вход
в рассвет по затаившим радость крышам.
Зима молчит мелодией глухой
и, кажется, сама себя не слышит.
Но сразу видно – немота бела,
узорчатые лапки галок – звонки.
Кто ожерельем ходит по делам,
пустые не устраивает гонки.
Кто положил зерно на теплый люк,
тому простятся злые прегрешенья.
Не знаю, кто он, но уже люблю
его лицо, дыхание и шею.
Он шел во сне по зимней немоте,
чтоб накормить растрепанную стайку,
Он был Тобой, ходячий райотдел,

сосредоточенный на жизни сталкер.
Поцеловав повеселевших птиц,
сминал пакет и нес до ближней урны.
Свет замечал и начинал расти.
Иначе и не наступает утро.

так думает светящаяся тьма
чугунная ограда между веток
раскидистое ветреное лето
целующая в голову зима
так думает сворачивая влево
тихонько напевая в вышине
кецалькоатль весны по всей длине
струящий ослепительность напева
но кто я если это тоже я
скользя на лодке в центре отраженья
пытаясь повторить его движенья
и чувствую прозрачные края

как же мне выжить если она смертельна
жизнь на минуту раньше меня с запасом
смелости умирают во мне растенья
но постепенно чтобы не вся и сразу
первыми с красноватой резной бравадой
как оловянный солдатик нет деревянный
так одногого сдержанными дровами
огненно очень прямо
и остается мелкая живность вроде

мышки-полевки белки заблудшей кошки
эти боятся смотрят так и уходят
глядя с испугом можно конечно можно
можно идти остается вода и рыба
но и они замерзают и воздух с гулом
выдохнув поднимается голем глыба
памяти возвратилась ура проснулась
все что я знала до вспоминаю после
соединяю если менять местами
если вдохнуть обратно весь этот воздух
все оживут но снова меня не станет

все солнечные дни открылись в ноябре,
ноябрь из окна — почти что чашка чаю,
аквариум теней, плывущих на ребре
по воздуху, который соткан из печали

ну что же ты, начнись! с разбегом в сорок лет
получится взлететь и в небе помаячить
ну что же ты, очнись, тяни другой билет —
кленовый, например, какой-нибудь поярче

не липовый, тяни, моя другая жизнь
расходится вверху далекими кругами
...по воздуху воды, минута этажи
и крыши, где рыбак всем рыбам помогает

Михаил Немцов /Новосибирск – Вашингтон – Москва/

ЕСЛИ БЫ Я СНИМАЛ НАСТОЯЩИЙ ФИЛЬМ ПРО ВОЙНУ

ЗА ДАЛЬЮ ДАЛЬ

Насчет человекоядения, как и вообще о чревоугодии,
два мнения есть, а может быть, и не два.

Безусловно ли надобно мыть
руки перед едой, или достаточно протирать их одеколоном?

Большинство (говорят) склоняется к первому варианту.

Традиции цивилизованности, опрятности, буквализма.

Ах, почему же мы не рождены управлять пересыльным
чем-нибудь, превращая его неустанным трудом в симфонию, –
а зачем-то засунуты управлять только этой жизнью,
которая вовсе была бы лишена перспектив и захватывающих наворотов,
если бы не наша заслуженная гастрономия?

Но некоторые предвещают: придётся, дескать,
осваивать одеколон :(Тоска!

Недаром – пришли, говорят, последние времена! Но ещё пока
есть куда разбежаться – играй, играй и за далью даль.

ДРУГОЕ ПИСЬМО ИРИНЕ, О СУЕТЕ СУЕТ

Помнишь ли, как пред барьшнею самоуверенного возраста на колени падал, бился
в истерике подлинной апологет упадочной философии, с воплем «Производи!
Производи!», а она отвергала его единственным движеньем руки
с ногтями кроваво-красными, так изящно?

Вспомни ещё, как истекали мозги в больших черепах, неплохо украшенных
очёчными оправами,
в знойнейшей середине июля, в долгих дискуссиях о непредпочтительности
абортивных мер? О, зря ль в самую что ни на есть жару самоотверженно сочинялись
их резолюции, чтобы отправиться после по инстанциям и к самим
производительницам, в народ?

А с другой стороны, да мало ли было попыток пресечения неуместных поползновений
на что-то такое – в общественном транспорте, в академических аудиториях,
да что там! – в общественных банях, в университетских библиотеках, предназначенных
вообще-то для неторопливого вчитывания в насыщенные фактами сочинения –
где ж это бедствие только
не свило себе гнезда! Но тщетны и тем восхитительны в их увлечённости
запретительные порывы.

Мысленным взглядом окинув весь этот опыт и сотен и тысяч, как не воскликнуть
ах *суета суёт!* Баба – что баба? Ну скажем, родит или не родит, но ведь это имея в виду,
будет вокруг увиваться некто, преподнося чуть ли не яблочки на снегу
или там что ещё. А к детородству пригодная баба –
возьмёт да и уедет заместо многообещающих всех этих дел
жизнь прожигать, например, в М.И.Т., и тоже в своём ведь праве, и на этом чьей-нибудь
сказке
конец. Так-то вот и романы захватывающие заканчиваются ничем,
бывает.

Примиры, примиры там будем,
или — и здесь, но потом, —
и что же? Проходить мимо
мальчика, мордующего собаку,
соседа, мордующего супругу, мимо группы установленных лиц
по предварительномуговору, — ?...

Думаю о том старом философе, покинувшем родину, в аккурат
перед тем как её накрыло крыло соседней державы
и в кислоте растворило, но угодившем в объятья другой державы, где
избраннейшие из людей несли на себе инсигнию «с нами бох»,
и прошедшем в смертельной близости мимо печей, а позже
создавшем учение, что человека всегда недостаточно, —
как он сказал, когда молодой коллега рассказывал, мол,
дискуссии о нацизме Хайдеггера в последние годы
пришли к тому, что неоднозначно всё в этом очень особом случае, —
он сказал ему вдруг по-русски, на языке своего
детства: «эти старинные байки меня больше не убеждают».

...больше не убеждают. Так вот, это знание: «все там будем»,
или «придёт рассудит», «внезапно», — было ли всё это чем-то большим,
нежели детской игрой мальчика, уговаривающего самого себя
всё-ж таки выйти из дома на тёмную улицу, по нужде?

2016

АРХИВИСТ НА ДАЧЕ. ВИЛЬЮС ИЛИ ВАРШАВА, 1981

Прошлое. Дверь за спиной — не захлопнута, незнакомые цикады-плезиозавры откуда-то свищут,
трещат, будто за дверью сад и будто бы он переполнен ими.
Здравствуй, явился. А выйдешь — пусто, благоустройство что ли там состоялось. Кто-то убрался.

О, обустройство сада чужой рукой! Обопрёшься своею, а под ладонью — дерево.
Дерево вишня, дерево зиккурат, дерево абрикос.
Изгороди в низине, гравий дорожки, проволока загородки
грядок бывшей хозяйки дома. Вниз, по направлению тяготения, тропка. Когда
здесь могли проехать повозки? Сто лет назад, или пятьсот лет назад. Могли.

Луг, за ним болотце. Речка. Окраина городка.

Хранитель скрипа чужих манускриптов,
ты вдруг отправляешься дальше, за этот ручей. Там склон, а над ним шоссе,
уложенное, очевидно, поверх
древних камней. И кто встречает на нём — неумытый танк, или девочка в платье,
напоминающем о картине
«Муза процветания на баррикаде»?

2016

Теле-провал с чёрной, но влекущей поэтикой ада здесь-и-сейчас.
Недомолвки, подгонки. Самолёт провалился в таргарары,
проявился с другой стороны земли,
притащил неизвестно откуда отряд вуду, теперь они
размножаются здесь и там.
Это клип скоростной, кто подсел на него, рискует
инерцией вспышек быть выброшенным из этого мира.

Наблюдатель здесь неуместен. (Наблюдатель – от слова «блюсти»).

Кирка, топор, штык-нож –

вот что сподруечно, когда уже нет места «любви ненаучной».

И прочей любви вообще: пришли времена

размножения отпочковыванием.

Продолжая всего лишь смотреть, рискуешь ощутить себя сукой

(самкой нелепого, нездешнего миттельшнауцера).

Но ты продолжай смотреть. Утешенье, оно же подсказка:

разве из нас хоть один – не миттельшнауцер,

разве из нас хоть один – не чихуахуа

перед лицом недалёкой уже войны?

2014

НАПИСАНО НА МОСКВЕ

Девочка-скерцо, девочка-вдова

уходит в соц. сеть ночью, когда ребёнок уснул, и там

пишет письма, мол, ездили к тёте, купили зонтик, заходил Николай, ты

всё не пишешь, он спрашивал о тебе, в садике новая воспитательница,

гречанка, а ты где –

девочка-вдова

была девочка-скерцо, адресат – отец её дочери, он похоронен вблизи границы,

допустим, мы это знаем, она, тогда ещё нет. Такой аккаунт, письма из этого мира. Я

завтра выйду из дома отправлюсь, да, на работу, где предстоит беседовать

с ещё одним теоретиком людоедства,

жителем метрополии, сочинителем книг, проповедником благости

пограничных войн. Девочка-вдова, девочка-мамка всё это время там пишет, или

уже не пишет. Какие выводы делаю я,

читатель разнообразных блогов, из чтения этого блога? К сожалению, ненависть,

ненависть, только ненависть

к людоедам, поклонникам всего огнестрельного –

чёрт бы их всех побрал! Но вокруг ведь Великий пост, так я

быу себя по рукам, но по-прежнему — ненависть, ненависть! Девочка-скерцо, девочка-вдова, её длинные письма убитому мужу. Конец истории, давай титры

2016

К Денису Грекову

Если бы я снимал настоящий фильм про войну,
я бы начал его, минуя парады, сразу
с бомбардировки, — потом четыре бомбардировки,
восемь, одиннадцать, двадцать семь бомбардировок,
сорок три бомбардировки, и разрушающееся здание,
развалины разрушенных сооружений, горящие под
этими зданиями подвалы, выгорающие ещё и ещё раз,
ещё и ещё раз, —

в этом месте фильм уже должен остообенить. Далее — операция,
где отрезают ноги, зашивают живот, одно и то же несколько раз, отрезают ноги,
зашивают живот, в этом месте фильм уже как бы не про войну,
а «про жизнь вообще», поэтому снова
бомбардировка, как реминисценция первоначальных сцен,
затем сюжет — голодная девочка тонет в холодной воде,
не спасаясь с уничтоженного корабля. Ещё раз тонет, теперь по-быстрому.
И тогда, чтобы те, кто досмотрел досюда, не ушли обиженными,
героический танк, врывааясь в предместье, сметая пулемётные гнёзда,
прорывается в центр городка! И там, на Рыночной площади, освобождённые
прекрасные девушки бросают цветы к подножью его постамента! И всё.

А вот, написать бы стихотворение, как
любовь во время войны и т. п. делает неинтересными
новости издалека, потому что, увы, неизбежны вокзал, корабль, самолёт
и ожидание: это вновь, это вновь, и пускай потом, но ведь будет!
И это любовь. А думаю я, пересекая московскую улицу Гарibalди, всё равно о том,
как вот, ровно сто лет назад, поутру гуляя неподалёку отсюда,
в пригородных полях, с флягою и с ружьём в руке,
рөвесник самоуверенный мой, некий приват-доцент,
рассуждал про себя о гуманитарном кризисе,
и сумерки Римской империи прозревал в грозовых облаках над рекою Тиссой,
но сам-то он пребывал под защitoю стен святых, культурно
готовил к печати очередные статьи — и он же
ровно четыре года спустя рыдал от безнадёжности под воротами
какого-то богатого дома уже в Стамбуле-Царьграде, уже не приват-доцент,
а почти доходяга, складываясь пополам
на жёстких камнях мусульманского гиблого города. И всё это вроде почти вчера.
Что толку быть собой, не ведая стыда?

А вот неймётся ж человеку своё мнение иметь!
Да вот хоть соседу — о том, что закрыть все двери,
хоть как на подводной лодке, и пусть они там загнутся —
уж мы-то пересидим! Да хоть и на дне, не страшно. Пересидим!
Как не было этих ста лет. Хотя впрочем были, и потому —
кровавое кей-джи-би всё уже в прошлом, да?

А там, за лесами, полями, другая страна, тридесятые королевства-республиканства,
и там, было дело, натанцевались, накувыркались, и кто-то со шлюхами пил кофей,
а кто-то и шёл в номера. Ого! Но всё ж и они как-то всплыли,
теперь зажигают уже по-другому, цивилизованно. Пример нам или не пример?
Такая теперь любовь, расчётливая, и всё-таки недалёкая. Самолёты
ещё, говорят, летают.

Ирина Бондас, переводчице

Два представителя «местных», — он и она, —
приглашены на международный семинар
прочитать стихи о своих туземных событиях.
Тексты уже переведены британским экспатом,
специалистом по истории региональной
литературы. Туземка в очках, полуласонённых чёрною прядью, —
верлибр: трое, запертые в подвал,
на день седьмой изнасилованы восемью,
подвешены за ноги
и уже перестали стонать,
собственные жаждости приняв в себя.

И подвал сохранил тела их от артобстрела.

Участники семинара слушают чтение, глазами следят
за напечатанными в приложении к программе
текстами переводов, руководитель секции думает:
«quite a sensitive topic, quite an intensive reading, nonetheless
it is excellent»; улыбнувшись, легонько кивает. Туземная женщина
не улыбается. Ожившие в ней голоса стихают, она говорит себе:
«всё-таки будет по-нашему, по-моему».

О чём, кстати, этот англоязычный семинар? Об идентичности? Точно,
Об идентичности. Самость, идентификация, identity, самосвідомість.

2015, Берлин

ЛЮБОВЬ

Он литератор, она швея, вот вам начало какой-то дружбы. Страстной?
В благотворительном обществе поставлена «Смерть Тарелкина»,
на премьере они — на ступеньках рядом. Общий знакомый в Ревеле,
его дядя писал по вопросам политэкономии. И посещённые в детстве одни и те же
парки, и что вы читаете и т. д.

Он не из «этих», он тренирует копьеметателей и бегунов в пролетарском клубе,
разносит газеты в Пренцлауэрберге. Упражняется в прозе, оглядываясь на В. Сирина.
Она-то хоть и швея, но мечтает: Земля Кайзера Вильгельма, Каролинские острова,
Самоа. Станция в пальмах, обучение меднокожих закону Божьему, медицине.
Дневник, заполняемый под возгласыочных неизвестных птиц, и особая радость: письма.

Он это всё принимает с восторгом — не век же вертеться на берегах Шпрее!
Давай-ка грядущим летом
доедем с тобой до Южного берега,
наймёмся на пароход,
и пусть он нас увезёт
туда где звезда Пасифики не заходит
и никого кроме нас там не будет
и все окрестности окажутся прекрасны!
И на мосту они целуются согласно.

2017

Елена Кацюба /Москва/

Олег Шатыбелко /Переделкино/

[быть д. сэлинджером]

Потому что посредством зимы обращается время
И пытается смыть этот грим с молоком на губах
Возвращается ждать превращается в нежить
Собирает кастаны и просится на руки всем
Этифания входит на цыпочках строит гримасы
В этом ветре есть привкус и запах напрасный апреля
Он как Март Сципион обращается с речью к дождю
Тихой сапой разучивать осени рыжие гимны
Нужно больше чем жизнь чтоб понять этот миг

Спуститься с горы
И оказаться посреди безмятежно-снежной равнины
Посторонний Камю одинокий как Кафка Целан по грудь в молоке
Внутри непрерывного метатекста голодной поэзии
Проборматывающей автора в предсвода в молчание
В снег

Растирающей
Жизнь до истончённой плёнки подсознания сна
Где место слов занято созерцанием собственной тени вместо
Отдаляющегося сознания бесконечности внутреннего соглядатая
Переводящего взгляд словно перелистывая страницы
Снежинок

Однаковых

В своём стремлении обернуться талой прозрачной водой
Утоляющих жаждой слов попытку выделиться в каплю
Знающую как объяснить базовый инстинкт языка
Глоток несущий в своём ДНК ответ протоплазмы
Зачем

Вот тогда

Ты чёрная точка едва различимая сверху на белом бумажном листе
Стремительно приближаешься увеличиваясь в масштабе до
стихотворения звавшее того кто заходит к тебе со спины
Окликает похлопывает по плечу и вшёптывает прямо в тебя жаркое
Я здесь я понял

[быть д. оруэллом]

И как с этим жить?

*Сначала будет плохо потом будет сначала
Потом каждый шекспир сочиняет собственную пьесу
в одном экземпляре в стол чтобы прощён*

*Главный герой оправдан в частности и вотице
Рукописи не горят но и не лечат а хотелось бы*

*Язык учит вратить тело
Чувствует себя от вра ти тель но
Констант
И не проходит кстати*

... не спрятались в таиланде.
кризис — курс доллара вырос — вернулись:

ничего не понимали —
какие-то бумажные олигархи
науськивают СМИ.
что им уинстон смит?
от тв привкус керзы и гари.

дуют на интернетное молоко.
примеряют московский дресс-код.
подставляют гуманитарный конвой
в кроссворд неба над головой —

пьют чай с губою вприкуску —

ничего не сходится, не выходит:
он чувствует себя сказочным хоббитом,
она трясогузкой —
жить в междууречье — то ешё,
смит, искусство.

после всенощной
короли капусты по обе стороны океана
сбрасывают мундиры
в прямом эфире, а новые командиры
подбирают их, облачаются в новые страны —

кровь эсфирь сворачивается в нефрит:

ночью, целуя её в темя,
в шею, в ключицу,
он шепчет, словно, перебирает чётки:
«такое, джулия, время, такое дело —

нам нужно выучиться
чувствовать чёрно-белое.
обязательно выучиться самым нутром
остро чувствовать черно-белое», —

как говорил в «1984» д. оруэлл.

[быть и. кормильцевым]

...когда он идет посередь москвы
по любимому тихому переулку
у него болят позвонки:

всадник без головы
чук гек берри финн
мхти аспирантура
где тебя черти рос вырос
в чёрно-белую теле-данность
пролетарский эрос
интеллигентский танатос

потом прокрустово девяностых
водка уже носом
буковски бродский

потом болотная нулевых
ерофеев вайль генис левкин
довлатов гандлевский

двшка в спальном тату u-2 prince nirvana
в наушниках органный концерт иоганна
арт-хаус lost доктор хаус
лица соседей в метро наизусть
коупленд зюскинд берроуз

горалик сосновра гронас
гаврилов геласимов шишкин скидан
звягинцев айзенберг зондберг жадан
сесанс превращения золота в ртуть
сен-сенькова кривулин сабуровым в грудь
опыт крика с камнями во рту
львовский гримберг подносит к лицу
рейн из пригова пишет отцу
что гейде степановой рымбу —

смилостись государыня рыбка
три ангел-хранителя анны на шее
как говаривал и. кормильцов:
я не знаю чего/ничего страшнее

когда он прошел пол-москвы/
пройдёт пол-степанчиково
перейдёт с вы на ты
собьёт прутом одуванчики
снова здорово лужков-хозяин-собянин
сплёвывая тише танечка не плач не больно-то больно —

жалко ему грустно себя и...
привольно
будто сломали смешали сковеркали
а оно вот оно morning в зеркале
не ожидали не ждали цацку касатку паршивицу
привольно ему довольно ему:

стоит айболит и чеширится...

[быть]

1

...МОЛИЛИСЬ
тому кто не выдал
кормили
которая их не съела

триумф его каждые иды
ох молод был цезарь
зелен —
столы собирали пели:

*не боли у шуры
не боли у васи
не боли у коли
такие вот шуры-муры
такая вот катавасия
ой да не вечер
ой ли*

2

сто дорог исполать вам
ни дождя ни коряг
не указ судья им
ни дьяк ни варяг

кто тв смотрел
 тот плечами жмёт
 коль висит в кремле
 на стене ружьё
 значит

остаётся
 библия очевидного –
 один день из жизни ивана денисовича
 потом ешё 3 653
 безымянного солнца
 безымянного итого
 читать учить бестиарий

зажить за ивана денисовича
 невыносимая лёгкость невыносимей всего
 в тени себя
 самого

вечный мим пилигрим
 говорил же пахан на шконке

*не охай эпоха всегда плохая
 не можешь изменить рим
 не брезгуй его закона
 потом не жался что пайка злая*

хвост машет собакой
 битый небитого привёз – о как
 к обоим приставлен бахус

на завтрак
 направленная на тебя тьма
 которую хочется смять

кофе с мёдом и тмином
час с фейсбуком вприглядку
не размешивать сахар
пить мелкими твิตами
играть с собой в перепрятки
смыслов и страхов

чёт нечет чёт
горячо
ахово

не верить никому
выдергивать руку
потом верить всем
в гений хирургов

смерть у нас одна
и живот один
верить в BBC в евроньюс един

5

оны говорят у нас впереди вечность
говорят в китае и не такие
тайфуны выдали в шэнчжэне
мы та еще нежить

слышишь? —
как дочка твоя шепчет:
«папка, я к тебе нежноюсь...»

так едва совершеннолетен
 торопыга подросток гой
 заказал по живому молебен
 по живому за упокой
 поменял покаянец имя
 и полы правдолюбец вымыл

*знаю без святыц
 тоже сорвётся*

псов своих вскармливать
 та ещё карма
 обещал не сметь

да твою же мать

мама
 время их обнимало
 как шива
 шили
 легкие платья и сарафаны
 набело

так и сотни лет назад жили
 мы и сорок лет назад жили
 словно их вообще не было

ни петра здесь ни грозного не было
ни малюты его даже пыли
из-под чёрных сапог их хромовых
робеспьера амина кромвеля

время крутит перпетум мобиле
страшно что по спирали или —

ни монет ни гербов их
не было
городов мавзолеев
не было
с площадей ДНК бы
набело

жизнь дотлела вся
я взаймы бы взял

не было: а мы — были...

[радио Свобода]

Уехав
Отдаляешься ровно на столько чтобы забыть
Лица и небо в которое никогда не смотрел
Обретя новые в которые то же: помещаешь себя за стекло
Спешить потом не спешить открывать новости но уже
про тех

Помнить
Раньше по ней скучилось как по любимой большой но дурной
Их как детей жалели они были не виноваты отдельны как церковь от
А теперь я не помню как и когда но так получилось
Однажды они проснулись ответственными за всё то
Что с ними делают

[быть Р. Рождественским: попытка трансформации]

Потому что вот так получается иней
За оконным стеклом в темноте января
Потому что я зол и Камю с Паганини
Беспрерывно со мной говорят говорят
Бесконечно со мною слова говорят

Потому что вот так получается память
Умешаясь в строку дневников
Где страницы толкаются лбами
В переплёт собираясь снегов
Запрещённые в снах у него

Потому что вот так получаются стены
Истончаясь в подробную жизнь
Ровно так получаются тени
Полутени к которым пришит
Средостеньем с которыми сшит

Точно так получается время
Продолжаясь во мне словно сон
Собираясь в осколки мгновений
Отражённые боем часов
Удлиняясь до стрелок часов

Потому что вот так обращается время
И столкнувшись пласти поглощает песок
Проникая друг в друга на мир на мгновенье
Рече- стихо- и землетрясенье
Как по рекам по венам пуская свой сок

Вот тогда закрывается дверь за последним
А когда продолжается снег за последним
Мне легко в темноте говорить январю
Я дышу на стекло я вообще стекленею
Я дышу на стекло как вода стекленею
И в открытую форточку вру
И на русском с тобой говорю

[цезура по Гёльдерлину]

Серийный запуск ССЭМБХ1 в 2042 году
Стандартный самовоспроизводящийся
энерго-модуль на основе базона Хиггса

В электричестве больше нет необходимости

Полная роботизация производства
Логистика ничего не стоит расстояние не проблема
А длительность
Себестоимость продуктов питания и товаров
Уменьшается на порядок
Индивидуальные авиаперелеты
Сокращение преступлений напрямую связанных с насилием

Медицинские нанороботы в крови ещё до рождения
Средняя продолжительность жизни 127 лет
Массовое переселение
В автономные жилые комплексы на побережье

Абсолютная свобода от государства
Полития
Межпланетные беспилотники обнаруживают негуманоидов

Рост преступлений на сексуальной почве
Новое поколение нанороботов
Фармакологическая гипотеза

Окончательная смерть поэзии и литературы
Изгои невостребованности
А казалось бы батарейка

[до]

...до основанья а затем
Фёдор Михайлович Достоевский
Иван Сергеич Тургенев
Гениев скинхедов и пастернаков считают по осени
Русская ру-летка-енка
поднятая с колен Венера Милосская
Бабий бунт яр гарь огненный нерв
Ярость и гнев

Зане
оба неконтролируемых говорят за нас
С волнами накрывающими с головой всю-то жизнь
Про пат камнепад библейский сю(р)жет
Вангование по евангелию
от Орфея Матвея Терезы Калькутской
Шептать Песнь песней когда идёшь сквозь Дрездена
Разлитое молоко молчания вкус

С неба падает небо тенью ложится навзничь
Лежит мёртвое на воде
и кажется чёрным лишним и непрозрачным

Зеркаля как от гарроты мгновения лёгкие воздуха напряжены
До судорог ветра без кислорода времени
Когда бьёт в висок темя колокол тишины
Стучит точно в древо сухое дятел
Стоишь как во сне нет обхватив руками:

Тогда перед цунами волны отходят
А на песке остаются только галька и камни
Открытый финал Валгалла берсерк
Стыд вина жалость
Без числа
Бес тщеславия

[быть ж. дантоном]

1

...жена говорит из ти-ви
будь патриотом: иди сражайся

любовница из тель-авива
беги живи
не будь идиотом, жорж жаком дантоном —
альтернатива?

он чувствует ложу, кражу, подмену
звука, картинки, пикселей, снов
физики слов, ненастоящесть всего — словно он
одновременно
из осеннего марафона и зимней вишни
киношный бузыкин-дашков

не-всам-делишный
рукописный детский стишок
в кафе на салфетке про

тили тили про трали вали
бастилию/зимний брали?
майдан избыли?

брали. забыли.

2

то же мне новость — снова
она пожирает своих сыновей

Мастеру время дарит покой
современникам вечность мгновений
прочим словам текстам ораторам
цепкий конвой
до истории
дописанной импе-
ратором
за столиком в Якитории

3

слова перестали быть замыслом
они лишь контекст
умысел
палимпсест
вынужденное или — или

дразнилка —

тебя присвоили
из-раз-вратили:

они продают нам свой страх
ты продаёшь им свой страх
слова горят на кострах
слово го-во-рят на ко-страх

как некогда книги
мы-ты разных религий
те-мы разных со(мнений)

иже единый яндекс
иже если гугл
спаси нас
даждь нам днесь
смысли
слова
угли

именем дубль-ве-трижды

4

потом по стругацким приходят серые.
за ними чёрные.

утро включает новую серию:
он через гугл-планету долго расчётиво
рассматривает европу, америку

переключается на би-би-си
бормочет ну, нету ж — к черту её...

meneh, meneh, tekel, upharsin

достаёт из бара коньяк
наливает первую
чувствует себя робеспьером

шепчет вooот — как-то так...

[что]

*Мытарь вратъ твоего
Делают тебя виноватым ему
Решка быть виноватым себе
Когда проснёшься в четверг а ты умер
Молох умер все умерли
И только даждьбог окликает с небес
В напрасный нас колокол эхолот*

*Если не отгадают теорему Ферма
и холокост*

.. что жизнь конфетная обёртка сна
Что эту жилку у виска обрезал
Упругой тени лист и мне осталась малость
Что мне икалось да
Когда я выбирал
Направо храм налево downtown

Что в детстве я придумал ложь
(что как ни странно правда): лишь поскольку
От скуки и похмелья выписал меня
по калькам сэра Конан-Дойля
На виски съехавший Буковски
А заскучав решил сменять на дождь

Но потерял чертёж и выбросил в окно
Я здесь живу и я живу давно

Что я летал что я теперь летаю

Что боль честна
Что я прожил как мог
Кихот и мельница
Как однорукий Шива
Язык безделица
Что голос мой мистически не трезв
Ведь я всего на жизнь всего на волос
От озаренья как Ландау

Ах Мама
Постулатор знал
Что Агнес Го'ндже Бояджи'у
известная в миру как мать Тереза
До самой самой самой сомневалась
Ещё как сомневалась
Да уж

Геннадий Кацов /Нью-Йорк/

ИЗ СЕМЕЙНЫХ ФОТОГРАФИЙ

Прошедшее время — в нём всё, что могло
осталось, в нём запах забытый жилья,
за окнами век расцветает магно-
лия, за столом не стареет семья.

Не слышен ни голос, ни скрип половиц,
из крана годами вода не течёт,
и тот, кто капустницу идёт половить,
никак не находит в чулане сачок.

Здесь нужен какой-нибудь сырщик Мегрэ,
чтоб всё отыскать и вернуть день за днём,
и даже — пусть мама привычно: «Мигренъ
опять, — говорит. — Это перед дождём.»

ПРИХОДЯ

Наблюдая
белый плащ, плющом
распластавшийся по стене,
кожанную куртку,
коричнево бликующую утром,
свитер, в чьих рукавах
ещё свищет вчерашний

ветер; пальто, накануне
остановившее листопада поток;
затянувший петлю на ручке
 входной двери зонт,
 повешенный ниже, чем глазок;
 обувь, бунтующую под вешалкой,
 с туфелькой, покрытой
 замечтавшейся замшой,
 со шкарами «Тимберленд»
 шкуры свиной выделки,
 с кроссовками спринтерской
 решимости, с широкими тапками
 одомашненной очарованности,
 с сапогами семимильными
 в мелиоративном прошлом,
 с ботами на каблуках, словно
 на корабельных болтах —
 эта часть дома знает, что
 форма одежд, обуви, всего,
 что бесполо ныне в прихожей,
 оставлена содержанием:
 оно приобретает форму, когда
 захлопывается входная дверь
 снаружи, и теряет форму,
 едва захлопывается дверь
 изнутри, а между —
 пыль ложится, медленно
 и незримо, как опадают
 миги в песочных часах,
 пыль ложится на контуры,
 фоном оставленные до
 лучших времён в прихожей,
 и только эта часть дома
 наблюдает по ночам, как

в расширяющейся дрёме
начинает плавно кружиться
пальто, охватывая воздух
пустыми рукавами, и туфелька
фиолетовым боком всплывает
к белому привидению плаща,
сползающего отрешенно по
эмалевой стене, к заднику
 входной двери, на котором
зонт раскрывает павлины
длинные спицы и его тень
спускается гипюровой тканью
ожидания на боты, чьи
каблуки скользят по бликам
в липкой лужице, наглотав-
шейся капель, нападавших
из-под глазка, после чего
осторожные
изгибы танца бестелесных форм
остаются в границах прихожей,
воспаряясь к потолку и ниспадая
свитерами, куртками, сандалиями,
не убранными с лета, сапогами,
перескочившими коврик у порога,
накидкой с воротником искусственного
меха, случайным осенним пиджаком
канареечного цвета, кружась и
мягко огибая углы и освежая,
как веерами, стены — словно
подчиненные единому такту
отпечатки душ, полые существа,
оставленные хозяевами,
покинувшими их ради других
частей дома, пока здесь

время пылится и пыль
затягивает безответные формы
в темноту, в её тёплую материю,
которая сливается (как это
и бывает с чёрными бальными
платьями) с темнотой пола,
остывающего от пылающего света
потолочной лампы, потушенной
давно, перед тем, как всем,
содержащимся
в этом доме, предстояло
разойтись
по спальням
и
уснуть.

КУХНЯ

Помня
каждую разбитую
тарелку, рюмку, чашку
из разных подарочных сервизов;
глубокую кастрюлю, специально
купленную для варки лобстеров
(хорошо — громадных омаров);
фаянсовую супницу, которую
использовали всего один раз,
на поминках деда, отца, вдовца;
мелхиоровую ложку — ею
кормили до года вначале
старшего, а потом и младшего
ребёнка; тяжёлый стол,
раздвигаемый на шестнадцать

персон, а если сесть поплотней,
то и на двадцать; стулья
тёмно-коричневые, с мелкими
насечками на деревянных
сидениях, нанесённых в разном
возрасте детьми-вandalами;
напольные тумбочки и шкафчики
настенные с десятками пивных
разнообразных кружек,
привезённых из путешествий
по странам и континентам; цветы
в горшках и кадках; картины,
сюжетно не имеющие к еде
и поглощению пищи отношения —
эта часть дома чаще других
видит своих жильцов,
слышит своих жильцов,
собирает их на ужины, на
обеды в выходные дни,
на семейные торжества и
по календарным праздникам,
эта часть дома помнит каждого
из них за все прошедшие годы:
как они сидели вокруг стола,
в каком порядке и в каких позах,
о чём они говорили, кто в
это время вставал, отвлекался
на телефонный звонок, уходил
в другие части дома, смеялся
там или падал в кровать,
накрывшись одеялом и
подтянув к животу колени,
поэтому в этой части дома
все они остаются прежними,

поэтому ребёнок, сидя в
детском кресле, плотно
прижатом к столу, пугается
внезапно открывшемуся жёлтому
глазу холодильника напротив,
куда он же лезет ночью, лет
двадцать спустя, чтобы
утолить похмельный
голод; а одинокий старик,
скав в правой руке стакан
с кефиром, а в левой держа
кружок ржаного печенья,
видит на потолке зелёную точку
пожарного детектора в тёмной кухне
и думает, иронично-нараспев:
«вот и она, немигающая моя звезда,» —
и готов загадать желание,
поскрипывая старым ссохшимся
стулом, который в последний раз,
лет пятнадцать назад, проверял
отвёрткой на прочность в нём
усталого крепежа. И старик
знает, единственный в доме,
что если сейчас
загадать
желание,
то оно
обязательно
когда-нибудь
исполнится.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО СНЕГА

Должно быть, в личных целях дату
зима подобрала для стужи,
пространство чёрного квадрата
изнанкой вывернув наружу.

Сусальны сосны под мехами,
Мидас касался их как будто,
как будто им стоять веками,
как пирамидам или буддам.

Теперь на всех один пустырь и
дома, сгрудившись на пригорке,
подобно кораблям пустыни,
спят, крышами под ветром горбясь.

Им видится прохожий летний,
попавший на мгновенье в кадр,
а дальше, словно в киноленте
засвеченной — опять декабрь.

куда пропадают герои снов?
все эти нужные предметы, люди,
ставшие близкими, с которыми вновь
не встретиться, которых больше не будет?
чем завершаются там истории: сюжет
про детей, нашедших твоё портмоне?
про знакомый с детства город Зэд
с ландшафтом, написанным в духе Моне?

все эти ужастики с погоней, с чередой
потерь родных, друзей, незнакомых?
с цветными планетами и яркой звездой,
с оказавшимся на ней твоим домом?
что это было, и каждой ночью зачем
эти встречи, разлуки с чувством сиротства?
От всего человека, возможно, «чел»
остаётся, или «ч», если что-то во сне
остаётся.

Янис Грантс/Челябинск/

ВЕТЕРИНАР

Михаилу Корюкову

ветеринар дрожит.
вероятно, порочен.

пейзаж, как жертва победителя:
кровавый закат,
по окрестностям
разбросаны кости деревьев
(кости убитых?
иезекииль, 37?)

глубокая старость на этом краю
сродни решению присяжных
о виновности очевидца.
бдительная деревня
словно в ожидании злодея:
лает ожесточённо,
рвётся с цепи,
щетинится на все часовые пояса.

словарный запас ветеринара
не очевиден —
воспалены голосовые связки.
он дрожит, будто порочен.
добровольно.
поздним вечером.

клянётся молча,
не зная содержимого клятвы.

деть скотников и доярок
вот-вот
найдут его.

ПОВОРОТ

интересный поворот.
затормозили.
ссаживают зайца.

темень.
суматоха сучьев.
холод.
волчьи фары по периметру.

сыграешь в ящик,
а она и не узнает.

СФЕРА

закусывал чем-то объёмным.
сферическим.

в пору его расцвета было:
сверкающая
крутящаяся сфера
над танцполом.
дискотека.

сейчас:
не уплаченный в срок.
лишь.
только.

опять о дискотеке:
она тогда рассыпала бусы.
пытались
эти бусины собрать
между дёрганых ног.
куда там.
смеялись.

взял сферу в ладонь.
рассыпалась.
растеклась.
под шубой, что ли?
чёрт.

чего ж вы хотите.
пьяный.

вдрабадан.

С НЕМЕЦКОГО

яичница из четырёх,
переведённая с немецкого,
надрывается,
шкворчит.

через час – уже игрушка:
хлопает глазками
цыплячьего цвета,
как ГДР-овская кукла.
нежится.
ты любишь меня, но...

мой член побывал у тебя во рту,
поэтому я вправе знать...

за окном – вдруг – заключительный дождь:
женщина напяливает белый пакет, словно ку-клукс-клановский колпак,
собака лижет блевотину,
мальчик щекочет собаку.

ВЕТЕР ЛАЕТ

ветер лает – собака носит
эхо ветра к ногам хозя-
и на пол кладёт: – папа Йося,
я б залаяла, да нельзя.
потому-то на человечьем
повторяю: надеждам – швах!
время лечит, оно – залечит.
пепел к пеплу и к праху прах.

папа Йося слезится: то-то.
гладит псину.
целует фото.

ВО ВРЕМЕНИ

Юлии Подлубновой

сев за руль тёмно-синего москвича – 2141 Я6832ММ,
Витя Цой едет в рыбачий посёлок Плиенценс,
Латвия.
в бардачке – томик Блока.

Александр Вампилов плывёт на лодке
по Байкалу у истоков Ангары.
с восторгом дымит, предвкушая рыбалку.
Блок – в рюкзаке.

Джеймс Дин едет по дороге
близ города Чолам, Калифорния,
на porsch 550 «spyder»,
чтобы принять участие в гонках в Салинасе.
книга Блока – на заднем сидении.
в переводе, разумеется.

Антуан де Сент-Экзюпери
летит на самолёте-разведчике lockheed P-38,
бортовой номер 2734 – L,
в Прованс.
среди карт штурманской сумки – Блок по-французски.

Альбер Камю – наоборот – едет
из Прованса.
за рулём – Гастон Галлимар,
так что есть время почитать Блока.

Даниила Хармса везут в чёрном воронке.
война.

настроение — отличное.
да, скифы мы, почему-то
напевает Хармс на неопределённый мотив.

вроде, умер давно, а — путешествую:
из года в год,
из города в город,
всякий раз думает Блок.
он помнит все отъезды,
вылеты,
отплытия,
но не помнит ни одного возвращения
из этих
своих
путешествий.

СОННОЕ УТРО

бочка «пропан-бутан» на колёсах грузовика.
водитель поглаживает джунгли на лице,
не очевидно ухмыляясь козырьку
светофора.

радиус действия.
безвозвратные потери.
поминальные свечи.
так?

нет.
просто.

занавес уже движется,
будто за советом,
открывая обречённые сугробы по обочинам.
грейдер исполняет конферанс.
гортань солнца.
дома выстроились в очередь
за пособием.
всё.
упрекнуть некого.
и не в чем.

откуда
тогда
внутри
это?

ИХИТС

Человека бросили
Как собаке кость
На зубах под осенью
С кем-то бывшим врозь

Он летит что падает
Курит что умрёт
И читает вывески
Задом наперёд

НОГТИ РАСТУТ

стригу ногти на ногах.
маме.
мамочка. мамочка.
детство твоё всё ближе.
скоро я буду мыть
голову твою белую
и укладывать баю-бай.
страшно-то как.
хочется спрятаться под стол,
как в детстве,
когда дед мороз
ещё настоящий.
только что ж это будет:
два малых дитя,
а ногти растут и растут
на ногах
и руках.

ЦЕПЬ

птица, вырванная с мясом
прутьев отчего гнезда,
как заблудший спутник наса,
не вернётся никогда.

когти, вырвавшие птицу,
утолят своих детей.
дети вырастут в куницу
чистокровных соболей.

но куницы век отмерен
не капканом, так ружьём.
человек настигнет зверя
и в него оденет жён.

(спутник чешет, что есть дури, –
ни сигналов, ни руля.
человек на кухне курит,
напевает ля-ля-ля).

но однажды вдруг незримый
он предстанет сам собой
(ни трубы, ни серафима)
над планетой ледяной.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия



Уильям Батлер Йейтс /Дублин – Ментон, 1865-1939/	7
Артём Серебренников /Москва/	17
Вадим Месяц /Томск – Москва/	24
Вячеслав Куприянов /Москва/	33
Елена Зейферт /Москва/	41
Вячеслав Шаповалов /Бишкек/	47
Борис Кутенков /Москва/	57
Михаил Дынкин /Ашдод/	60
Ирина Легонькова /Харьков/	64
Геннадий Калашников /Москва/	66
Олеся Николаева /Москва/	75
Лада Пузыревская /Новосибирск/	86
Сергей Шестаков /Москва/	89
Ольга Андреева /Ростов-на-Дону/	97
Олег Бабинов /Москва/	98
Виталий Кальпиди /Челябинск/	108
Йоргос Сеферис /Урла – Афины, 1900-1971/	116



Алексей Григорьев /Санкт-Петербург/	120
Анна Асеева /Иркутск/	128
Геннадий Рябов /Санкт-Петербург/	131
Владимир Захаров /Санкт-Петербург/	134
Галина Климова /Москва/	136
Виктор Куллэ /Санкт-Петербург – Москва/	145
Андрей Недавний /Ставрополь/	149
Алексей Чернец /Новосибирск/	151
Евгения Джен Баранова /Москва/	156

Андрей Санников /Екатеринбург/	161
Елена Лапшина /Москва/	165
Евгений Степанов /Москва/	169
Наталья Осташева /Москва/	171
Катя Капович /Бостон/	178
Станислав Ливинский /Ставрополь/	180
Андрей Болдырев /Курск/	187
Екатерина Полянская /Санкт-Петербург/	192
Татьяна Литвинова /Северодонецк/	194
Оля Скорлупкина /Санкт-Петербург/	198
Автоном Доветров /Черноголовка/	209
Ольга Аникина /Новосибирск – Санкт-Петербург/	212



Наталья Ахпашева /Абакан/	219
Георгий Чернобровкин /Олонец/	227
Андрей Родионов /Москва/	235
Андрей Козырев /Омск/	238
Инна Кабыш /Москва/	242
Григорий Шувалов /Москва/	244
Анна Гедымин /Москва/	246
Григорий Медведев /Пушкино/	251
Людмила Орагвелидзе /Тбилиси/	256
Дмитрий Гаричев /Ногинск/	260
Тариэл Цхварадзе /Батуми/	263
Регина Поливан /Благовещенск/	266
Всеволод Емелин /Москва/	269
Ирина Рыпка /Нижнеудинск/	275
Роман Круглов /Санкт-Петербург/	276
Власта Власенко /Ивано-Франковск/	279
Любовь Шереметьева /Черкассы/	279



Александр Рытов /Москва/	292
Андрей Дмитриев /Нижний-Новгород/	297
Евгения Изварина /Екатеринбург/	301
Майка Лунёвская /Тамбов/	304
Вадим Муратханов /Москва/	305
Современная узбекская поэзия	306
Аюна /Москва/	312
Владимир Спектор /Луганск – Баг-Зоден/	316
Ирина Котова /Воронеж/	319
Сергей Тенятников /о.Майорка/	320
Сергей Арутюнов /Москва/	325
Анна Цветкова /Луговая/	328
Алёна Рычкова-Закаблуковская /Иркутск/	335
Юлия Тишковская /Москва/	338
Серафим Введенский /Уфа/	343
Инна Домрачева /Екатеринбург/	346
Серафима Сапрыкина /Санкт-Петербург/	348



Александр В. Бубнов /Курск/	354
Надя Делаланд /Москва/	362
Михаил Немцов /Новосибирск – Вашингтон – Москва/	365
Елена Кацюба /Москва/	374
Олег Шатыбелко /Переделкино/	375
Геннадий Кацов /Нью-Йорк/	393
Янис Грантс /Челябинск/	401

Для заметок

Для заметок

НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ

Литературно-художественный
альманах

Главный редактор

Андрей Гущин

Зав. отделом поэзии

Дмитрий Артис

Художник обложки

Николай Сологубов

По вопросу приобретения обращаться по адресу:

www.novigilgamesh.org

E-mail: kayala@ukr.net

Видавництво «ФОП Ретівов Тетяна»
вул. Мала Житомирська, д 8, №3, м. Київ
тел. (096) 538 51 15
e-mail: kayala@ukr.net

Свідотство суб'єкта видавничої справи
ДК № 5016 від 24.11.2015 р.



**«Изгнанный из рая, утерявший единство
с природой, человек становится вечным
странником (таким, как Одиссей, Эдип,
Авраам, Фауст).**

**Он стремится обрести ту гармонию,
которая снимет проклятие, разделившее
его с природой, с другими людьми,
с самим собой».**

(Эрих Фромм)